



Сальвадор Дали Сокрытые лица

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6658069
Сальвадор Дали. Сокрытые лица: Эксмо; Москва; 2014
ISBN 978-5-699-70849-9

Аннотация

«Сокрытые лица» был написан в далеком 1944 году и публиковался с тех пор всего несколько раз. Почему? Да потому, что издатели боялись шокировать приличное общество. Дерзкий, циничный и одновременно романтичный, этот парадоксальный роман укрепил репутацию своего создателя – гения и скандалиста.

Содержание

Предисловие автора	5
Часть первая. Озаренная равнина	7
Глава 1. Друзья графа Эрве де Грансая	7
Глава 2. Друзья Соланж де Кледа	34
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Сальвадор Дали Сокрытые лица

Larvatus prodeo¹

— Декарт

Я посвящаю этот роман Гале, постоянно бывшей рядом, покуда я писал его, доброй фее моего равновесия, отгонявшей саламандр моих сомнений, поощрявшей львов моих убежденностей... Гале, коя в благородстве души вдохновляла меня и служила зеркалом, отражавшим чистейшие геометрии эстетики эмоций, направлявшей мой труд.

¹ Выступаю под личиной (лат.) — Здесь и далее примечания переводчика, за исключением случаев, оговоренных особо.

Предисловие автора

Дано или поздно все неизбежно приходят ко мне! Одни, безразличные к моей живописи, признают, что я рисую, как Леонардо. Другие бранятся меж собою о моей эстетике, но согласны в том, что моя автобиография – один из «человеческих документов» эпохи. Третьи, даже сомневаясь в «подлинности» моей «Тайной жизни», обнаруживают во мне литературные дарования, превосходящие те, что я открываю им в картинах, и те, что они зовут мистификацией исповеди. Но еще в 1922 году великий поэт Гарсиа Лорка предсказал мне писательскую карьеру и предположил, что будущее мое – именно в «чистом романе». Есть и такие, кто не выносит ни моих картин, ни рисунков, ни литературы, ни украшений, ни моих сюрреалистических предметов и т. д. и т. п., но они заявляют, что у меня *есть* непревзойденный театральные дар, и мои последние театральные декорации – едва ли не самые чарующие из всего, что видала сцена Метрополитен... Одним словом, трудно не оказаться в моей власти – так или иначе.

Однако все это заслуживает куда меньшего, чем кажется, поскольку одна из главных причин моего успеха даже проще, чем источник моего разнообразного чародейства, а именно: я, вероятно, самый трудолюбивый художник нашего времени. Проведя четыре месяца в затворничестве в горах Нью-Хэмпшира близ канадской границы, отдавая писательству по четырнадцать неумолимых часов в день и завершив таким образом «Сокрытые лица» «в полном соответствии с планом» – но без единого отступления! – я вернулся в Нью-Йорк и вновь встретился с друзьями в «Эль Марокко». Их жизни остались в той же самой точке – словно я покинул их лишь накануне. На следующее утро я навестил студии, где художники все эти четыре месяца терпеливо ожидали вдохновения... Новая картина лишь начата. А сколько всего за то же время произошло в мозгу у меня! Сколько героев, образов, архитектурных проектов и осуществленных желаний родилось, прожило, умерло и было воскрешено, архитектонизировано! Страницы романа суть лишь часть моего последнего сновидения. Вдохновением, или мощью, можно овладеть лишь насильственно – а также тяжким, мучительным трудом каждого дня.

Зачем я написал этот роман?

Во-первых, потому, что у меня есть время свершить всё, что желаю, а я желал его написать.

Во-вторых, потому, что современная история предлагает уникальную основу для романа, посвященного эволюциям и бореньям великих страстей человеческих, а также оттого, что неизбежно должна быть написана история войны и в особенности послевоенного пронзительного времени.

В-третьих, если бы его не написал я сам, кто-то другой сделал бы это – и сделал плохо.

В-четвертых, гораздо интереснее не «копировать историю», а предвосхищать ее, и пусть она потом изо всех сил пытается имитировать то, что ты уже изобрел... Потому что я жил в непосредственной близости, изо дня в день, с героями предвоенной драмы в Европе, я последовал за ними в американскую эмиграцию и поэтому легко мог представить, каково будет их возвращение... Потому что еще с XVIII века страстная триада, явленная божественным маркизом де Садам – садизм, мазохизм... – оставалась незавершенной. Необходимо было открыть третье неизвестное в этой задаче, синтез и сублимацию – кледализм, по имени героини моего романа, Соланж де Кледа. Садизм можно определить как наслаждение, переживаемое через боль, причиняемую субъекту; мазохизм – как наслаждение, переживаемое через боль, принимаемую субъектом. Кледализм – наслаждение и боль, сублимированные в выходящую за любые пределы идентификацию с субъектом. Соланж де Кледа заново откры-

вает подлинную естественную страсть, она – нечестивая святая Тереза, она – Эпикур и Платон, сгорающие в едином пламени вечного женского мистицизма.

В наши дни люди заражены безумием скорости, а она – не более чем эфемерный, быстро развеивающийся мираж «потешной перспективы». Я пожелал воспротивиться этому написанием длинного и скучного «истинного романа». Но мне ничто и никогда не наскучивает. Так пусть будет хуже тем, кто отлит из скуки. Я уже рвусь подобраться к новым временам интеллектуальной ответственности, в кои мы вступим сразу по окончании этой войны... Подлинный роман атмосферы, интроспекции, революции и архитектонизации страстей обязан (и всегда был обязан) быть полной противоположностью пятиминутному фильму о Микки-Маусе или головокружительному переживанию парашютного прыжка. Человек должен, как в неспешной поездке в карете времен Стендаля, уметь постепенно впитывать красоту пейзажей души, в коих он странствует, всякий новый купол страсти должен постепенно открываться взорам, чтобы духу каждого читателя хватило досугов «насладиться» им... Не успел я закончить книгу, как уже начались разговоры, что я пишу роман бальзаковский или гюисмансианский. Напротив, это категорически далианская книга, и те, кто читал мою «Тайную жизнь» внимательно, легко разглядят в структуре романа непрерывное и живое знакомое присутствие ключевых мифов моей жизни и мою мифологию.

В 1927 году, сидя на залитой весенним солнцем террасе мадридского кафе-бара «Регина», мы с бесконечно оплакиваемым поэтом Гарсиа Лоркой планировали необычайно оригинальную совместную оперу. Опера и впрямь была нашей общей страстью, ибо лишь в этом виде искусства все существующие лирические жанры могут быть амальгамированы в идеальное триумфальное единство во всем их величии и потребной громогласности и тем самым позволить нам выразить все идеологическое, колоссальное, липкое, вязкое и тонкое замешательство нашей эпохи. В тот день в Лондоне, узнав о смерти Лорки, павшего жертвой слепой истории, я сказал себе, что должен создать нашу с ним оперу в одиночку. Я не отступаю от своего твердого решения осуществить этот замысел – в один прекрасный день, когда жизнь моя достигнет зрелости, – а моя публика знает и всегда уверена, что я делаю практически все, что говорю и обещаю.

И потому я создам «нашу» оперу... Но не сей миг, поскольку по завершении романа я удалюсь на весь следующий год в Калифорнию, где желаю вновь посвятить себя исключительно живописи и претворить позднейшие эстетические замыслы в жизнь с техническим рвением, неслыханным в моей профессии. После чего я немедленно примусь терпеливо брать уроки музыки. Дабы во всей полноте овладеть гармонией, мне потребуется всего два года – разве не чувствую я наверняка, что она у меня в крови уже две тысячи лет? Для этой оперы я все сделаю сам – либретто, музыку, декорации, костюмы – и, более того, сам же ее поставлю.

Не могу гарантировать, что эта частица мечты будет принята благосклонно. Но уверен в одном: по совокупности моей феноменальной и многообразной деятельности я уже оставил на грубой шкуре горбатой ленивой «спины искусства» моей эпохи узнаваемую отметину, анаграмму, выжженную огнем моей личности и кровью Галы, всею плодотворной щедростью моих «поэтических инвенций». О сколько их, уже напитанных духовно моей работой! Так пусть же тот, кто сделал «столько же», кинет первый камень.

Сальвадор Дали

Часть первая. Озаренная равнина

Глава 1. Друзья графа Эрве де Грансая

Долго сидел граф Грансай, подперев голову рукой, завороженный неотступной грезой. Взгляд его скользил по равнине Крё-де-Либрё. Эта равнина значила для него больше, чем весь остальной мир. В пейзаже этом была красота, в распаханых землях – благополучие. И лучшим в этих полях была почва их, а в почве ценнейшим – влага, а от влаги происходил редчайший продукт – особая грязь... Поверенный и преданнейший друг графа, мэтр Пьер Жирардан, имевший слабость к литературной речи, любил говаривать о Грансае: «Граф есть живое воплощение одного из тех редких явлений почвы, что ускользают от искусства и способностей агрономии, – почвы, созданной из земли и крови неведомого источника, волшебной глины, из каковой вылеплен дух нашего родного края».

Когда граф, показывая свои владения, спускался с новым посетителем к шлюзу, он всякий раз наклонялся подобрать комочек глины и, разминая его аристократическими пальцами, тоном внезапной импровизации повторял в сотый раз:

– Дорогой друг мой, несомненно, чудо этих мест – в эдакой грубой податливости наших почв, ибо уникально не только наше вино, а и, превыше прочего, водятся у нас трюфели, таинство и сокровище этой земли, по чьей поверхности скользят самые крупные улитки во всей Франции, соперничающие с другой диковиной – раками! И все это в оправе благороднейшей и богатейшей растительности – пробкового дуба, который делится с нами своей кожей!

И походя срывал он горсть листьев пробкового дуба с низкой ветви, сжимал их крепко и катал в кулаке, наслаждаясь ощущениями на тонкой коже, – колким сопротивлением шипастого касания, и его одного хватило бы, чтоб отъять графа от прочего мира. Ибо из всех континентов земного шара Грансай ценил лишь Европу, а в Европе любил одну Францию, во Франции боготворил лишь Воклюз, а в Воклюзе выбрал единственное место богов – поместье Ламотт, где родился.

В поместье Ламотт же наилучшим образом размещалась его комната, а в комнате этой имелась точка, с которой вид открывался исключительный. Это место четко обрамлялось четырьмя большими ромбами черно-белого плиточного пола, по четырем внешним углам коих размещены были четыре слегка суженные книзу лапы изящного письменного стола в стиле Людовика XVI работы краснодеревщика Жакоба. Вот за этим столом и сидел граф Грансай, глядя поверх величественного балкона в фасоне эпохи Регентства на равнину Крё-де-Либрё, озаренную уже закатным солнцем.

Ничто не могло лирически подогреть патриотический пыл Грансая так же, как ненаскачивающий вид, предлагаемый ему переменчивостью плодородной равнины Крё-де-Либрё. Тем не менее кое-что неимоверно портило ему вечную гармонию этого пейзажа. То был участок в триста квадратных метров, на котором вырубili деревья, и земляная ободранная облыселость возмутительно прерывала мелодическую текучую линию могучих посадок темного пробкового дуба. Вплоть до самой смерти отца Грансая роща эта оставалась нетронутой и составляла обширной панораме слитный передний план, образованный темной, волнистой горизонтальной линией дубов, оттенявшей сияющие просторы равнины, также горизонтальные и чуть холмистые.

Но со смертью старшего Грансая владения, обремененные тяжкими долгами и закладными, пришлось разделить на три части. Две достались видному землевладельцу бретонских кровей Рошфору, и он тотчас же стал злейшим политическим врагом графа. Чуть ли

не первым делом Рошфор, приняв новую собственность, срубил триста квадратных метров пробкового дуба на своей территории, отделенных от остального большого леса, который тем самым утерял свою урожайную ценность. Вместо дубов высадили виноград, но принялся он на истощенной каменистой почве плохо. Эти триста квадратных метров выкорчеванных пробковых дубов в самом сердце фамильного леса Грансаев не только подтверждали расчленение вотчины графа, но и образовавшаяся брешь открывала полный вид на имение Мулен-де-Сурс, населенное теперь Рошфором, – а места этого графу мучительно не доставало, ибо то был главный узел ирригации и плодородия большей части возделываемых земель Грансая. Мулен-де-Сурс ранее полностью скрывали древесные заросли, и лишь флюгер на мельничной башне, что выглядывал меж двух низкорослых дубов, был когда-то виден из комнаты графа.

Под стать его приверженности землям чувство прекрасного было одной из исключительных страстей, владевших Грансаем. Считая, что фантазии ему не хватает, он был глубоко убежден в наличии у себя хорошего вкуса, и поэтому уродование его лесов оказалось крайне мучительно для его эстетического чутья. Более того, после поражения на выборах пять лет назад граф Грансай – с непреклонностью, свойственной всем его решениям, – бросил политику, дабы дожидаться переломного момента в событиях. Все это не означало отворачивания к политике. Граф, как любой подлинный француз, был политиком от рождения. Он обожал повторять максиму Клаузевица: «Война есть продолжение политики иными средствами». Он был уверен, что надвигающаяся война с Германией неизбежна, а ее приход – математически доказуем. Грансай ожидал ее, чтобы вернуться в политику, ибо чувствовал, что его страна с каждым днем делается все слабее и развращеннее. Что же в таком случае вообще могли значить для него анекдотические инциденты политики местных равнин?

А куда граф Грансай нетерпеливо дожидался начала войны, он замыслил устроить большой бал...

Нет, не только в созерцании Мулен-де-Сурс близость политического врага подавляла его. В истекшие пять лет, за которые – благодаря героической неколебимой преданности мэтра Жирардана – удалось укрепить благосостояние и плодородность земель, последние раны, нанесенные гордости графа и его интересам, казалось, медленно, однако верно исцелились. Следует добавить, что Грансай выказывал относительное безразличие к уменьшению своих владений и никогда не терял надежды выкупить назад отъятую у него собственность, и эта мысль, смутно лелеемая в недрах его планов, на время помогла ему почувствовать еще большую отстраненность от владений предков.

А вот к разорению его лесов он привыкнуть никак не мог, и каждый новый день от одного вида несчастного квадрата, засаженного изуродованными ветром лозами умирающего виноградника, жалко заламывавшего вывихнутые руки через неправильные геометрические интервалы, страдал все острее, таково было непоправимое осквернение горизонта его первых воспоминаний – горизонта и постоянства его детства – с тремя накладывающимися кромками, столь любовно растушеванными светом: темный лес на переднем плане, озаренная равнина и небеса!

Лишь подробнейшее изучение очень особенной топографии тех мест, однако, могло бы удовлетворительно прояснить, почему эти три элемента пейзажа, так связанные друг с другом, неизменные, придавали равнине Либрё настолько пронзительное чувственное и мечтательное воздействие светового контраста. С раннего послеполудня сходящие с гор за помещьем тени постепенно заполняли дубовые рощи, погружая их внезапно в эдакую поспешную и предсумеречную тьму, а – тогда как авансцена пейзажа утопала в бархатной ровной тени – солнце, принимаясь садиться в центре глубокого прогиба местности, изливало огонь через всю равнину, его наклонные лучи прорисовывали со все большей объективностью мельчайшие геологические детали и акценты, и эта объективность остро усили-

валась той самой прозрачностью воздуха. Словно можно было взять всю равнину Либрё в пригоршню, различить задремавшую ящерицу на старой стене дома в нескольких милях отсюда. И лишь под самый занавес сумерек и почти на пороге ночи прощальные остатки отражений закатного солнца с сожалением ослабляли хватку на последних обгаренных вершинах, будто пытались, вопреки законам природы, увековечить химерическое выживание дня. Ночь почти наступала, а равнина Крё-де-Либрё оставалась словно озаренной. И, вероятно, именно из-за этой исключительной чувствительности к свету граф Грансай всякий раз, переживая один из своих болезненных припадков подавленности, когда душа его мрачнела в тенях меланхолии, видел древнюю надежду предков о вечной плодоносной жизни, курящуюся над густым чернеющим лесом колючих пробковых дубов его тоски – равнина Крё-де-Либрё, утопленная в теплом солнце, озаренная равнина! Сколько раз, после долгих отлучек в Париж, когда дух Грансай погружался в праздный скептицизм его эмоционального бытования, одно лишь воспоминание о мимолетном взгляде на эту равнину возрождало в нем новую сверкающую любовь к жизни!

На сей раз Грансай Париж показался настолько погруженным в политические неурядицы, что его пребывание в городе оказалось чрезвычайно кратким. Он вернулся в поместье Ламотт, не успев даже подпасть под растущее разочарование, какое рано или поздно возникает, если слишком уж постоянно предаваться связям, основанным исключительно на ожесточенной драме общественного положения; на сей раз, напротив, граф вернулся в свои владения с неутоленной жаждой общения, коя подтолкнула его пригласить ближайших друзей, как это бывало раньше, навестить его в выходные.

Грансай уже две недели как вернулся домой и обедал, как обычно, улитками или раками, в компании своего поверенного, Пьера Жирардана. За такими трапезами они вели нескончаемые приглушенные разговоры, а прислуживал им на цыпочках Пранс, старый слуга семьи.

Мэтр Жирардан, как уже отмечалось, под строгой и скромной суровостью профессии скрывал бурные литературные наклонности, равно как и его буднично лаконичная и объективная фразеология прятала сочный, метафорический и велеречивый талант, застенчивый размах, которому он давал волю в присутствии лишь ближайших доверенных друзей, среди коих граф Грансай был первым из первых.

Грансай от тирад своего поверенного получал сладострастное удовольствие: они полнились образами и зачастую поражали величию. Но он не только упивался ими – он находил им практическое применение. Ибо граф, что правда, то правда, владел примечательным красноречием и говорил по-французски с одному ему присущим изяществом, однако такова же правда и в том, что ему не под силу было изобретать те неожиданные образы, каковые рождались столь естественно у Жирардана, образы той легкой ядовитости и циничной витиеватости, что имели особое свойство успешно проникать уязвимые границы искушения и фантазий податливых химерических умов утонченных женщин. Грансай запечатлевал лирические измышления и затейливые придумки Жирардана у себя в памяти и частенько, не доверяя последней, делал пометки в маленькой записной книжке – почерком тонким, словно золотая нить. В таких случаях Грансай молил мэтра Жирардана повторить концовку фразы, а тот ощущал в такие минуты величайшую гордость и, против своего желания, в почти болезненной улыбке, вымученной из жестоко подавленной скромности, поневоле обнажал двойной ряд белейших зубов. Мэтр Жирардан склонял голову, почтительно дожидаясь, пока граф допишет свои изящные каракули, и на лбу голубоватые вены его, обычно и так вполне заметные и выступающие, набрякали еще более и достигали той пухлой блестящей жесткости, что характерна для атеросклероза.

В неподвижном и смущенном виде Жирардана была не одна лишь гордость, подавленная скромным желанием сохранять приличествующую дистанцию, но также и некоторая

неловкость, хоть и едва заметная, однако все же ее не скроешь. Да, мэтр Жирардан смущался: он стыдился Грансая, ибо в точности знал, как тот использует свои записи – чтобы блистать в обществе, – и особая репутация графа как исключительного собеседника на самом деле происходила от тайного вдохновения, даруемого графу его поверенным. Он применял свои пометки особенно к соблазнению женщин, но главное – с их помощью он подпитывал сокрытую всепоглощающую страсть, составленную из праздных бесед и надуманности, что неистребимой привычкой к неспешной смертельной власти связывала графа с мадам Соланж де Кледа.

В самом деле, Грансай при его скверной памяти заранее пролагал маршруты будущих встреч с мадам де Кледа, и беседы их всегда вились вокруг трех-четырех лирически ярких тем, обыкновенно развитых за долгие вечера, проведенные графом в компании поверенного. Правда, отдавая графу должное, с его природным даром слова и искусства светского общения, он часто достигал подлинных высот стиля, а узда его на редкость хорошего вкуса позволяла ему совершенствоваться и полировать затейливые, сочные, живописные фигуры, что рождались из несколько плебейских уст его поверенного, но кои, представь он их, никак не видоизменяя, в каком-нибудь ультрапарижском салоне, показались бы претенциозными, смехотворными или неуместными – если не все это разом. Грансай и Пьер Жирардан еще в мальчишестве были друзьями по играм, и граф научился у своего будущего поверенного интуитивному, пронизательному и самому глубинному пониманию человеческих отношений, какое лишь человек, происходивший из самых что ни на есть простых людей, мог ему дать. И потому всякий раз, когда речь заходила о том, какой великий реалист духа граф, по большей части эти слова невольно относились к логическим достоинствам его поверенного.

Граф Грансай не только присваивал себе поэтические образы, пронизательные замечания и почти звериное чутье к действительности у мэтра Жирардана, но даже подражал манере последнего прихрамывать. Пять лет назад, при автомобильном столкновении во время трагикомических событий выборной кампании, граф и его поверенный получили сходные травмы ноги. Мэтр Жирардан через три недели полностью исцелился, а кости графа срослись неудачно, и у него развилась хромота. Но, покуда поверенный выздоравливал, граф наблюдал за его походкой и тут же перенял его фасон хромоты, поразивший его благородством. Разумеется, придав ритму ущербной походки больше покоя и безмятежности, Грансай лишь добавил своим идеальным физическим мужским пропорциям ноту меланхолии и утонченной оригинальности. От того несчастного случая у графа сохранился очень тонкий и длинный шрам, прямая вертикаль от левого виска до середины щеки. Этот вот порез, очень глубокий, но едва заметный, стал барометром графа: в ненастные дни он проявлялся ярко и наливался багрянцем и начинал жестоко зудеть, вынуждая графа, не желавшего чесаться, резко захватывать ладонью щеки, кои он сжимал со всею силой. Из всех его жестов и движений, которые были столь подчеркнуты, что граничили с манерностью, этот тик был единственным непостижимым извне.

Граф Грансай в тот вечер давал обед при свечах на двадцать пять ближайших друзей, которые, постепенно собравшись за день, теперь «прихорашивались» перед общим сбором в зале приемов в половине девятого. Сам Грансай облачился на час раньше: как и в своих любовных свиданиях, на светских вечерах или даже на встречах с друзьями сердца, ему нравилось без спешки пригубливать долгое, слегка – и восхитительно – мучительное ожидание, во время которого он мог подготовиться к тому эффекту и тем поворотам событий, какие желал бы произвести. Его утешало все, что могло выдать варварскую любовь к импровизации, и в тот вечер, подготовившись для приема даже ранее обычного, граф присел за стол у себя в кабинете. Вынув записную книжечку из выдвижного ящика, он принялся изучать пометки, сделанные за последние две недели: с помощью этих записей он намеревался придать своим речам великолепие. Первые три страницы, написанные путанно и без уве-

ренности, он пропустил, затем улыбнулся, наткнувшись на страницу, полную сюрпризов – образцов умных способов завязывать дискуссию, – и наконец остановился на странице, где значилась одна фраза: «Записи для тет-а-тет с Соланж».

Тут он надолго погрузился в размышления, и лишь непобедимая праздность не дала ему продолжить в том же духе и в то же время неумолимо подталкивала его в приятное русло обольстительных фантазий.

Причудлива была страсть, соединявшая Эрве де Грансая с Соланж де Кледа. Пять лет они играли в беспощадную войну взаимного соблазнения, все более непокойную и раздражающую, пока лишь кристаллизовавшуюся до точки ожесточения растущего импульса соперничества и самоутверждения, которые малейшее сентиментальное признание или слабость подведут под разочарование. Всякий раз, когда граф чувствовал, как страсть Соланж уступает штилю нежности, он бросался вперед с новыми предложениями уязвить ее тщеславие и восстановить необузданную вздыбленную воинственность, ту самую, что происходит от неуголенной страсти, которую с хлыстом в руках принуждают превозмогать все более и более непреодолимые препоны гордости.

Именно по этим причинам после продолжительных сеансов общения, производимого в почти томных тонах легкой идиллии, чуть спрыснутой притворной бесстрастностью и тонкой игрой остроумия, в то время как оба упрямо скрывали от самих себя безумный аллюр их страстей, Грансая всегда подмывало хлопнуть Соланж по задку и дать ей кусок сахара – как это делают с чистокровным конем, гарцующим гибко и изящно и желающим предоставить наезднику всю свою безграничную мощь. Граф относился к происходящему с добродушием верхового, покрытого пылью и синяками, которого в горячей поездке несколько раз выбросило из седла. Ничто не утомляет более страсти такого рода – основанной на взаимном заигрывании. Грансай говорил себе это, когда услышал, как часы в гостиной пробили половину девятого. Он поднял голову, склоненную уже очень долго, опер ее на руку и несколько мгновений смотрел на равнину Крё-де-Либрё, которая, благодаря своему особому топографическому устройству, все еще хранила, вопреки воцарившейся полутьме, отражения последних отблесков дня.

Бросив последний взгляд на равнину, граф Грансай немедленно поднялся из-за стола и, прихрамывая своим особым манером, пересек коридор, ведущий в залу приемов.

Он вышагивал со свободным, спокойным изяществом, столь удачно оттененным чьим-то последним нервным охорашиванием волос, неловким поправлением галстука или подозрительным мимолетным взглядом в зеркало, характерным для большей части породистой англосаксонской застенчивости. Граф прошествовал к середине залы, где встретил герцога и герцогиню Сентонж, вошедших через противоположную дверь в один с ним миг, и расцеловал обоих в щеки. Герцог, казалось, невероятно тронут, но не успел он и рта раскрыть, как услышал нарастающий шум ожесточенного спора, внезапно прекратившегося у входа в залу. Юный маркиз де Руайянкур, голова в бинтах, появился в сопровождении Эдуара Кордье и месье Фосере, все трое ринулись к Грансаю наперегонки. Взяв графа за руку и мягко ее стиснув, Камилль Фосере воскликнул:

– Ну и переделки находит себе ваш протеже, маркиз Руайянкур! В один и тот же вечер он становится «королевским молодчиком» – и дерется плечом к плечу с коммунистами за свержение единственного правительства, которое знает, чего хочет, и которому даже хватало пороку претворять это в жизнь – правительство порядка!

– Черт подери! – Маркиз де Руайянкур с задором оторвался от компании и пощупал пальцем свежее пятно крови, проступившее на бинтах. – Опять кровь. Сбегаю-ка сменю повязку. Всего десять минут, и пусть эти господа, мой дорогой граф, расскажут вам все о случившемся. Когда я вернусь, вся черная работа будет проделана, мне останется лишь добавить правду.

Через несколько секунд зала почти заполнилась, и Грансай, занятый приемом гостей, принялся по крупицам бесед, происходивших вокруг без всякого порядка, узнавать о трагических событиях предыдущего дня. То было Шестое февраля, как его уже поименовали, принесшее отставку кабинета Даладье.

Граф Грансай питал непреодолимую антипатию к радио – и, разумеется, не располагал таковым у себя в доме, – весь день не читал газет и потому теперь прислушивался с неким даже сладострастным опьянением к лавине сенсационных новостей, с которыми были тесно связаны имена почти всех его знакомых. Время от времени он перебивал говорящих, дабы уточнить то или другое, но не успевал его собеседник хоть что-то объяснить, внимание графа уже переключалось на неожиданные новые откровения. Граф Грансай прихрамывал от компании к компании, голова чуть запрокинута, лицо повернуто влево, и с равным вниманием слушал всех, а взгляд упирал в некую неопределимую точку на потолке. То была манера отстраненности и превосходства, какую он желал выказать, при этом интересуясь всем происходящим в общем; не только не желал он поражаться событиям, но отказывался даже быть втянутым в распаленную атмосферу бесед, которым лишь приличия места не позволяли скатиться в желчность.

Женщин произошедшее потрясло особенно сильно, ибо к сорока убитым и несколькими сотням раненых прибавлялась неприкрытая романтическая свирепость втянутых во все это организаций. «Огненный крест», коммунисты, кагуляры, заговорщики «Акации», «королевские молодчики» – сплошь мелодраматические названия, от них одних бежали мурашки по самой нежной коже, обнаженной над глубоким декольте. Граф Грансай обозревал своих друзей, среди которых в самом деле были и члены «Огненного креста», и кагуляры, и заговорщики «Акации», и «королевские молодчики», и представители свергнутого кабинета, и даже коммунисты, и со снисхождением, кое живая любовь его к литературе делала чуть извращенным, он незаметно сморгнул и, оглядев пестрое собрание своих гостей, решил, что салон у него вышел «довольно впечатляющим».

Слегка потрясенный таким количеством внезапных событий действительности, граф отвлекся вниманием от шквала разговоров меж друзьями и, легко опершись спиной о каминный мрамор, начал видеть пред собой, подобно киномонтажу, беспорядочную последовательность поразительных образов всего, что он только что узнал. Он увидел, как солнце садится и исчезает за Триумфальной аркой, а демонстранты из «Огненного креста» движутся по Елисейским Полям сомкнутой колонной по двенадцать под развернутыми знаменами во главе; увидел неподвижные, черные, выжидающие заграждения полиции, которой приказано удерживать их, но она сдается в последний момент, один полицейский за другим, почти не замедлив бестрепетного движения демонстрации; вот уж направляется она прямо к мосту Согласия, забитому военными грузовиками и войсками, защищающими подступы к Палате депутатов.

Внезапно глава муниципальной полиции выступает навстречу демонстрантам, проходит десяток метров. Он обращается к знаменосцам, после чего шествие, поначалу медля, все-таки меняет направление движения и устремляется к Мадлен, выкрики усиливаются: «Даладье на галеры! Даладье на галеры!» В мгновение ока кованые ограждения, опоясывающие деревья, уж выдернуты из земли, ожесточенно швырнуты на брусчатку, разворочены на части и превращены в грозное оружие; газовые рожки уличных фонарей разбиты железными прутами и горят, исторгая бешеные светящиеся пламена, они вздымаются, как долго-терпевшие гейзеры, чуть ли не на тридцать метров к небу, в котором сгущаются сумерки. Еще! И еще! И уже, будто разрушительная зараза, костры народного гнева образуют огненными перьями громадные гирлянды над бурлящей толпой. С тротуара напротив «Максима» в Министерство морского флота летят камни, рука в кожаной перчатке сует в открытое окно

тряпку, пропитанную керосином, открывается *porte cochère*², появляется остервенелое лицо капитана корабля. «Не знаю, чего вам надо, – говорит он, – но вижу у вас там триколор и потому убежден, что проливать кровь французских моряков вы не хотите. Да здравствует флот! Да здравствует Франция!» Толпа бросается к Мадлен. Теперь она затопляет Королевскую улицу. Горничная, свесившаяся с балкона, убита шальной пулей, пышный амарантовый капот, что она держала в руках, падает на улицу. Грансай видит, как эта зловещая тряпка полощется над головами толпы – она лишь на миг отвлекается на такие случайности, но почти сразу ее поглощает ненасытное неистовство, что, как собачий гон, влечет ее в пульсирующем неуправляемом потоке, вслед магнетическому и горькому духу мятежа.

Все эти виденья мелькали одно за другим в воображении Грансая, все быстрее и быстрее, без очевидной последовательности, но с такой зрительной ясностью, что оживленное зрелище гостиной превратилось в неразличимый фон растерянного ропота и движений.

Он видит огромную лужу крови от лошади со вспоротым брюхом, на этой крови только что поскользнулся журналист Литри, облаченный в свой всегдашний желтый плащ. Витрина цветочного магазина у Мадлен (где граф покупал мелкие желтые лилии с амарантовыми леопардовыми пятнами – их он временами имел дерзость вправлять себе в петлицу) сейчас отражает в сталактитах своего битого стекла горящий остов перевернутого автобуса на углу Королевской улицы. Они расстегивают брюки на толстом шофере месье Кордые – двое друзей, разложивших его на скамейке; плоть его очень бледна, цвета мушиного брюшка, а рядом с его пупом, в десяти сантиметрах, – еще одна дырочка, без единой капли крови, меньше, но темнее, в точности как описал ее сам месье Кордые: «Будто два прищуренных свиных глазка».

Князь Ормини, бледный, как труп, пробирается через служебный вход в бар «Фуке»; тонкий железный прут, пятнадцати сантиметров в длину, вбит, словно маленький гарпун, прямо у него ниже носа и так крепко засел в костях верхней челюсти, что князь даже со всей силою обеих рук не может его вытащить, падает без сознания на руки управляющему, верному Доминику, с криком: «Прости меня...» Далее, уже в ночи, кафе на Королевской площади заполнены ранеными, а последние опоздавшие бунтари оттеснены к дальнему краю Елисейских Полей, им вслед летят пули из автоматов Мобильной гвардии; опустевшая площадь Согласия, с сочащимся безразличием изящной бронзы фонтанов и чадом страсти – рифленные фонарные столбы со струями пламени, плещущими в звездную ночь, будто плюмажи из перьев.

В этот миг мадам де Кледа вошла в гостиную, увенчанная плюмажем из перьев. Грансай вздрогнул, увидев ее, словно внезапно проснувшись от своих грез наяву, и тут же осознал, что она – в самом деле единственный человек, которого ждал. Граф шагнул ей навстречу с непривычным пылом гостеприимства, поцеловал в лоб.

Мадам де Кледа, смуглая и такая скульптурная, украшенная бриллиантовыми колье и каскадами атласа, столь полно воплощала парижскую действительность, что, казалось, в залу проник какой-нибудь фонтан с площади Согласия.

Появление мадам де Кледа оказалось не вполне таким, каким желал бы его видеть граф. Он был бескомпромиссно привержен «тону» своего салона, и, хотя воцарившийся необычный беспорядок, в котором всяк рвался переговорить другого, поначалу его интриговал, теперь, пред взорами мадам де Кледа, несколько ошарашенными и ироничными, гомон показался ему невыносим. Он немедленно изобразил снисходительную и слегка язвительную улыбку, словно говоря: «Что поделать, дети, порезвились – и будет». Пылая обузданным нетерпением, бросавшим тень озабоченности на его лицо, Грансай незаметно приказал подавать ужин на десять минут ранее назначенного, таким образом надеясь восстановить

² Ворота (*фр.*).

гладкое течение организованной беседы, предвидя, как церемонное схождение по широкой лестнице в обеденную залу направит бурливое течение назревающей полемики в спокойное русло учтивости.

Ужин, однако, восстановил диалектическое равновесие лишь на краткое время, ибо насущные новости кровавых событий Шестого февраля почти немедленно всплыли к поверхности всех разговоров. На сей раз они стали сползать по опасному склону, оказавшись на коем, спорящие, сами того не чуя, смещались от описательной модальности к идеологической, и она-то неизбежно станет венцом трапезы – трапезы если не исторической, то уж во всяком случае остро симптоматичной тому решительному и важнейшему периоду истории Франции.

Мадам де Монлюсон оказалась по правую руку от сенатора Додье, а слева от нее расположился политический комментатор Вильер. Сама она состояла в «Огненном кресте», поскольку муж любовницы ее любовника был коммунистом. На ней было платье от Шанель, с очень глубоким декольте, отделанным розами, вырезанными из трех слоев черного и бежевого кружева, а меж ними скрывались довольно крупные жемчужные гусеницы.

Сенатор Додье всегда придерживался политической позиции, противоположной той, с коей сталкивался, и неизменно защищал персону, критикуемую его собеседником, и в последней части любой своей речи он систематически и намеренно рушил все, что сумел построить в первой, – и таким образом, производил впечатление человека, имеющего четкое мнение о чем угодно, а постоянным результатом всего, им сказанного, оказывалась ничья. Он излился дифирамбическим славословием в адрес платья мадам де Монлюсон и, обернувшись к ней, завершил словами:

– Вырез вашего платья, мадам, прямо-таки съедобен, включая розы, но с моим вкусом я бы предпочел, чтобы гусениц подали в отдельной тарелке – так удобнее брать.

Вильер вслед за этим поведал о последнем пiske парижской моды – съедобных шляпах, представленных на выставке сюрреалистов. Политически Вильер принадлежал к заговорщикам «Акации» – по той простой причине, что, будучи писателем, сочинял публичные речи для одного из выдающихся лидеров этой фракции.

Он льстиво заговорил с мадам де Монлюсон, пытаясь заинтересовать ее своим псевдофилософским трудом по современной истории. Мадам де Монлюсон, оставив попытки следить за скоком безумной кавалькады его парадоксов, в конце концов воскликнула:

– И все-таки я никак не пойму, на чьей вы стороне!

– Так я и сам, – меланхолически скривился Вильер. – Видите ли, я своего рода художник, и мое отношение ко всему – в точности как у Леонардо да Винчи, кто оставил знаменитую конную статую незавершенной: дожидался увидеть, кто же победит. Я вот работаю над книгой и делаю из нее подлинный памятник: она грандиозна, величественна, отполирована в мельчайших деталях, но у нее пока нет головы – я оставляю это до последнего момента, чтобы придать своей работе голову завоевателя.

Тут как раз подали телячью голову в лавровом венке, и он добавил, тыкая вилкой в листок лавра:

– На самом же деле, знаете ли, имеет значение не столько голова, сколько венец.

Месье Фосере и месье Уврар с самого начала трапезы вели язвительнейшие дебаты о парижских беспорядках. Эти двое были на тот момент лютейшими политическими противниками, ибо, имея одинаковую позицию, стоя на одной и той же политической платформе и располагая одинаковыми взглядами на все политические вопросы, они вынуждены были представлять шедевры интерпретаций – дабы у их последователей складывалось впечатление, будто эти двое находятся в постоянном пламенном несогласии, – и таким образом обскакать друг друга в полоумной гонке своих сиюсекундных и ежедневных амбиций, кои путали им воззрения и мешали обоим увидеть все еще неоднозначную цель власти.

Симоне Дурни некоторое время ожесточенно и настойчиво поглощала целиковые ростки спаржи, откусывая и пережевывая волокнистые ошметки, не понимая, что же она ест, наконец истерически ворвалась в происходившие вокруг нее беседы.

– Нет, говорю я, нет! Я в тысячу раз более готова увидеть Францию коммунистической, нежели Францию под властью бошей.

Месье Фосере жалостливо посмотрел на нее, а затем, пристально глядя ей в глаза, со всею серьезностью и будто пытаясь что-то вспомнить, спросил:

– Мадам... как зовут вашего сына?

– Жан-Луи, – ответила Симоне, и губы ее затрепетали в предвкушении.

– Что ж, мадам, – ответил Камилль Фосере мягко, – говоря подобное, вы не больше и не меньше подписываете своему сыну Жану-Луи смертный приговор!

Мадам Дурни сидела, будто замороженная, лицо внезапно бездвижно, а глаза наполнились громадными слезами – она только что проглотила спаржу не тем концом.

Беатрис де Бранте питала некоторую умильность к радикал-социалистам: ее интуиция подсказывала ей, что именно в нечистых брюках, колом стоящих воротничках и нечесаных усах лидеров этого движения нашел прибежище бойкий похабный дух Франции.

Она сидела справа от месье Эдуара Кордье, радикал-социалиста по той причине, что он был масоном, и слева от маркиза Руайянкура, роялиста, как подсказывало само его имя.

Беатрис де Бранте, свежая и жизнерадостная, слегка опершись на пухлое плечо месье Кордье, отдавала должное его политическим пристрастиям, рассказывая ему пикантные истории, и столько было в ее произношении изящества, что она могла говорить что угодно и при этом не терять ни йоты элегантности, – напротив, вопреки любому словоупотреблению, она могла нашептывать невиннейшие фрагменты своих анекдотов и возвышать голос исключительно в скабрёзных местах, кокетливо опробуя этот прием для привлечения внимания маркиза Руайянкура, который, на ее вкус, был слишком увлечен общим разговором.

– Вообразите, – говорила Беатрис месье Кордье, – мадам Дешелетт, в этих ее платье и шляпе от Скъяпарелли – той самой монументальной шляпе, – забралась на крышу такси, чтобы получше разглядеть все происходящее, топала ногами и, одна против всей толпы, изрыгала на демонстрантов поток жутких оскорблений.

Поскольку месье Кордье слушал с величайшим вниманием, она продолжила:

– Естественно, долго такое продлиться не могло. – Тут она заговорила тише: – «Молодчики короля» схватили ее за ноги, уложили на мостовую, задрали на ней юбки... – А теперь громче: – ... и прижгли ей кончиком сигареты одно из самых чувствительных и деликатных мест ее анатомии.

– Крещение огнем! – воскликнул Кордье, побагровев и сверкая очами.

– А вот и нет, – ответила Беатрис с оттяжкой, изображая невинность, – крещение, напротив, получила сигарета – водой.

– Какой водой? – спросил месье Кордье в минутном замешательстве.

Лениво-изумленно и бесконечно сладострастно Беатрис процедила сквозь зубы, почти прошипела:

– То была не совсем вода... – В этот миг к ней в бокал полилось некое очень пенистое шампанское, и это придавало каждому следующему произнесенному слогу еще больший акцент. – Но и не совсем шампанское.

Тут она взглянула на месье Кордье с таким ехидством, что он еще миг остался ошеломлен.

– Да, уверяю вас, эта невероятная история вполне правдива, – вмешался до крайности позабавленный маркиз де Руайянкур, пытаясь помочь месье Кордье справиться со смущением. – Мадам Дешелетт собственной персоной рассказала ее мне. Можете представить, как

она алкала облегчения, проведя в густой толпе целых два часа. Все случилось как нельзя более своевременно.

– Мой дорогой маркиз, – сказала Беатрис, деликатно опуская свою пухлую ручку ему на плечо, – прождав впустую визита вашего галльского остроумия, поскольку вы погрузились в политику, я тут изливаю свои чары на бедного месье Кордье.

– И не зря, дорогая моя, – оживленно ответил маркиз. – Он может рассказать вам такое, что заставит вас покраснеть до кончиков волос, но вам для этого придется выпустить его в родную стихию. Что же до меня, моя дорогая Беатрис, я приношу свои извинения за то, что не занялся с вами любовью, но, надеюсь, вы понимаете, когда происходит такое...

Произнеся все это, он игриво прижал бедро, затверделое от верховой езды, к мягкому бедру Беатрис де Бранте, и она встретила его знак внимания обворожительным смехом.

Сенатор Додье меж тем творил сенсацию на другом конце стола – излагал крайне оригинальную теорию.

– Гитлер хочет войны, – говорил он, – не для того, чтобы победить, как думает большинство, а чтобы проиграть ее. Он романтик и прирожденный мазохист, и закончиться все это для него должно так же, как для героя Вагнеровых опер – чем трагичнее, тем лучше. В глубинах подсознания Гитлер всем сердцем стремится к такому финалу, при котором сапог его врага сокрушит ему лицо, а оно совершенно безошибочно отмечено знаками катастрофы... – Тут Додье подошел к завершению своей речи несколько обеспокоенно: – Незадача в том, что Гитлер очень честен... Он не станет жульничать. Он желает поражения, но без поддавков. Он настаивает на том, чтобы игра была сыграна до конца, по всем правилам, и сдастся лишь в случае провала. А потому нас ожидают многие неприятности.

По правую руку от графа Грансая сидела герцогиня Сентонж, а по левую – мадам Сесиль Гудро. Политически герцогиня Сентонж была довольно левой, тогда как мадам Сесиль Гудро – однозначно правой. С соседкой справа с ее левацкими соображениями граф мог мягко ввести в разговор правые идеи соседки слева, а с соседкой слева с ее правыми идеями – сдержанно развивать левые идеи соседки справа. Все это осуществлялось с превеликой оппортунистской учтивостью изощренной игры в равновесие, что отличало не только личную позицию графа, но и таковую у великих политических сил в европейской ситуации того времени.

Ближе к концу трапезы идеологическое кипение сосредоточилось вокруг графа Грансая, который, решив лишь слушать, впал в молчание. С проповедническим азартом воинствующих шарлатанов, огражденных от всякой ответственности, каждый предлагал свои политические решения, коим все остальные единодушно противились. Заговорщики «Акации» видели единственную надежду на политическое здравие Франции в Латинском блоке, включавшем Францию, Испанию и Италию, противопоставленном Англии и Германии; относившие себя к Комитету «Франция – Германия» настаивали, что необходимо уже наконец произвести попытку завязать честную и безоговорочную дружбу с немцами; третьи желали немедленного военного альянса с Россией, изолировать Англию и задавить коммунистические организации страны в зародыше. Все эти предложения одновременно изучали в свете тончайших законодательных интерпретаций – к великому удовольствию месье Уврара, настойчиво влезавшего в дискуссию и предложившего наблюдение:

– Ситуация во Франции, несомненно, тяжелая, но верно одно: вопреки политическому хаосу, который мы все переживаем, наши представления о законе и порядке день ото дня делаются все более утонченными и конкретными. Да, господа, в этом отношении мы по-прежнему опережаем остальные народы, и нельзя не признать, что развитие наших юридических институций есть здоровье нации.

– Вкратце, – вздохнул герцог Сентонж, вспоминая знаменитые последние слова Форена, – мы умираем, но хотя бы исцеленными!

Грансай горько улыбнулся, и вокруг его глаз собралось множество мелких, почти невидимых морщин. Он вспомнил гитлеровские орды, Нюрнбергский съезд, когда он последний раз был в Германии, и в свете каждого слога и свечей, осенявших его стол фанатически остроумным сократическим духом, узрел проявляющийся призрак поражения 1940-го.

Как и Сократ, Франция готовилась к смерти, болбоча остроты и обсуждая закон.

Грансай поднес последний бокал шампанского к губам и сделал стоический глоток, словно то была цикута, а ораторский запал гостей кристаллизовался в великое желчное красноречие вновь обостряющегося сарказма, как раз когда пришла пора подавать кофе. Грансай все более и более отсутствующе прислушивался к обсуждаемому и, сонливый от обеда, позволил себе расслабиться в поглотившем его созерцании тысяч движений – свечного мерцания, жестов ужинающих гостей и церемонных появлений и уходов слуг, – передаваемых невозмутимому безразличию хрусталя и серебра. Словно загипнотизированный, граф следил за лилипутскими образами гостей, отраженными в углублениях и выпуклостях серебряной посуды. С зачарованностью наблюдал он фигуры и лица друзей, и самые знакомые становились неузнаваемы, приобретая, благодаря случайным метаморфозам стремительного искажения, самые неожиданные черты и самые поразительные сходства с исчезнувшими ликами их предков, безжалостно карикатурные в разноцветных рисунках, украшавших донья тарелок, на коих только что подали десерт.

К примеру, в одном из таких отражений, мимолетных дочерей волшебства случая, можно было увидеть, как из очертаний Беатрис де Бранте, вертикально обернутых платьем от Лелонга, проявляется фигура Марии-Антуанетты, стиснутая корсетом, или неимоверно вытянутый образ загнанной куницы, который королева носила в недрах судьбы отрубленной монаршей головы. Таким же манером прямой нос виконта Анжервилля, претендовавшего на англо-саксонское щегольство, вдруг распухал в грушу сочно галльского носа его деда, а тот в свою очередь усыхал до сурочьего, покрытого мехом и грязью, уткнутого в inferнальные недра своего атавистического происхождения.

В точности как в знаменитой серии чудовищных ликов, нарисованных Леонардо, можно было рассматривать лицо каждого гостя, пойманное в свирепую западную анаморфозы, кривящееся, изгибающееся, расширяющееся, удлиняющееся, и та преображала их губы в рыла, вытягивала челюсти, сдавливала черепа и уплощала носы до полного предела геральдических и тотемных отголосков их животности. Никто не избегнул этой тонкой и жестоко обнажающей инквизиции оптической физики, коя своими неосоздаемыми пыточными тисками способна была вырвать признание – недостойные ухмылки и непростительные гримасы в обликах в высшей степени достойных и утвержденных в благородстве. Словно в мгновенной демонической вспышке обнажались зубы шакала на божественном лике ангела, а на безмятежном челе философа вдруг дико сияло безмысленное око шимпанзе.

Каждое отражение – прорицание, ибо проще во вкрадчиво искаженном отражении лица в изящно изогнутой тыльной стороне ручки вилки, чем в любом магическом кристалле, обнаружить сомнительное происхождение внебрачного сына.

К завершению трапезы канделябры обагрила налившаяся кровью эпидерма. Каждый канделябр превратился в кровавое генеалогическое древо, каждый нож – в зеркало неверности, ложка – в герб низости.

Обнаженный юный Силен, мастерски выточенный в окисленном серебре, удерживал грубую ветвь канделябра, поднося свет очень близко, будто обращая внимание на цветущие контуры груди Соланж де Кледа, обнаженные над линией декольте. Здесь кожа ее была столь нежна и бела, что Грансай, глядя на Соланж, осторожно пронзил десертной ложкой гладкую поверхность сливочного сыра и подобрал ею лишь кусочек, попробовать, и ловко слизнул его шустрым кончиком языка. Чуть соленый и терпкий вкус, напомнивший о животной женственности козы, добрался прямиком до его сердца. С легчайшим, но восхититель-

ным томленьем он продолжил врезаться в безупречную припухлость гомерического блюда пред собой, а когда почти уже покончил с сыром, вдруг подумал, сколь хорошо фамильные волнистости его столового серебра идут матовой окисленной бледности Соланж, и мысль жениться на ней впервые посетила его ум. Соланж удалось поймать графа врасплох в этот самый миг смутного вожделения, и она – тоже впервые – отвесила ему застенчивый, почти раболепный поклон, а влажная расщелина ее губ полуоткрылась в горячечной улыбке, неощутимо тронутой болью, выражавшей почти чувственное переживание жестокого физического удовольствия.

Грансай вцепился в узловатый ствол канделябра, поднял его без всяких усилий, несмотря на его немалый вес, и поднес поближе – прикурить сигару, не дожидаясь спички, которую уже собрался подать ему слуга, – показывая этим энергичным нетерпеливым движением, что он только что принял важное решение.

За кофе все беседы продолжились в мрачном ключе синтеза, ибо пыл гостей теперь уж несколько остыл, и они оглядывались на только что происшедший оргиастический идеологический хаос своих мнений с определенным стыдом, и уже алкали достичь каких-то общих договоренностей, которые могли бы сойти за некоторый вывод. Герцог Сентонж в особенности взял настоящий и снисходительный тон, кой, оставаясь вполне общим, был несомненно адресован политическому безразличию, выдаваемому Грансаям, который по мере завершения ужина все более удалялся внутрь своей раковины.

– Хотим мы того или нет, – восклицал Сентонж, теперь уже напрямую обращаясь к графу чуть ли не дерзко, – современная история настолько плотна и драматична, что каждый из нас, в своей сфере, даже самые отчужденные, даже невольно, вовлечен в происходящее, и каждый из нас уже имеет на руках решительную карту, которую предстоит разыграть.

– Банко! – воскликнул Грансай, внезапно выпуская канделябр из хватки, и тот пал на стол. Все разговоры тут же захватила выжидательная тишина – лишь слуги в невозмутимом движении продолжили суету, и от ее приглушенных учтивых звуков тишина эта лишь углубилась. Не отводя взгляда от Соланж де Кледа, Грансай спокойно сделал несколько затяжек. Убедившись, что сигара хорошенько раскурена, он выдержал молчание еще миг, после чего, совершенно естественным тоном, но взвешивая слова, произнес: – Сентонж прав, и именно для того, чтобы объявить вам свое решение, я пригласил вас на этот ужин.

Мгновение это было настолько остро заряжено, что томление и ускорившийся стук всех сердец напятили внимание, окружившее Грансая.

– Я размышлял об этом последние три дня, – наконец объявил граф, – и решил устроить большой бал.

Ропот восторженных восклицаний увенчал это объявление – вихрь единодушия и сочувственного тепла, – и на мгновение, нарушая правила хорошего тона, дамы сгрудились вокруг графа, осыпая его дарами своей лести.

Герцог Сентонж, не успев пожалеть о случившемся, вцепился в ладонь Грансая неудержимыми двумя руками, искренне признательный ему за столь искусный поворот полемики в сторону, тогда как его неловкость чуть не стала опасно личной.

Соланж де Кледа вся эта сцена глубоко огорчила. Ибо с того мига, как она поклонилась графу, последний не сводил с нее глаз ни на мгновенье. Все это время голову она держала слегка откинутой, а глаза – долу и делала вид, что внимательно прислушивается к доверительному шепоту Дика д'Анжервилля, а на самом деле подглядывала исподтишка, сквозь светящиеся радуги, рождавшиеся в ресницах ее полуопущенных век, за расчетливым подъемом из-за стола и обворожительными движениями, коими Грансай прикуривал сигару.

Не ведая, о чем беседуют вокруг графа, Соланж не поняла, что он имел в виду, выкрикнув «Банко!». Это слово долетело до нее сквозь гомон всеобщих разговоров как пылкое обращение к ней лично, после которого неожиданная резкость движения графа заставила ее

затрепетать. Не поворачивая головы, она лишь чуть пошире приоткрыла глаза и ясно увидела, как подсвечник тяжело опустился на скатерть, а расплав крупных капель воска плеснул к его ножкам.

После мертвой тишины голос Грансая показался ей налитым бесконечно и невыразимо сладостной истомой, особенно когда он произнес: «...именно для того, чтобы объявить вам свое решение, я пригласил вас на этот ужин. Я размышлял...»

Соланж, которая после загадочного слова «банко» ощущала себя так, будто попала в сон наяву, вполне осознавала всю нелепость жуткого страха, сковавшего ее: она боялась, что Грансай собрался публично объявить об их помолвке, а они ее между собой никогда не обсуждали. Тем не менее, вопреки абсурдности этого предположения, ее сердце забилося так бурно, что, подумалось ей, она не сможет дышать, да, совершенно так! Грансай собрался говорить о них двоих.

Но каким же глупым, детским и бредовым все это казалось теперь! Раздосадованная, оцепенелая, переполненная неким внезапным и полным разочарованием, она задумалась на миг, что не сможет отбыть здесь остаток вечера. В подмышках ее собралось по теплой капле пота, они медленно сбежали вниз вдоль наготы ее боков, и две эти капли были черны, потому что каждая отражала черный бархат ручек кресла, в котором она сидела. Но Соланж была столь сверхъестественно красива, что можно было подумать: это крылья меланхолии, парящей рядом, теперь сложились над ней, затемняя и трансмутируя сей магнетический желанный физический секрет ее томящейся плоти в две черных жемчужины драгоценной тоски.

Все поднялись из-за стола, и виконт Анжервилль, занявший место за креслом Соланж, чтобы отодвинуть его, когда встанет и она, положил ей руку на плечо и прошептал на ухо:

– *Bonjour, tristesse!*³

Соланж вздрогнула, попыталась встать. Но голова ее закружилась, и она вынуждена была присесть на черный бархатный подлокотник кресла, оконечность коего украшалась бронзовой головой сфинкса. Она склонила голову Дикю д'Анжервиллю на грудь, закрыла глаза. Голова сфинкса сквозь тонкую ткань платья показалась ей такой холодной, что она даже подумала, что присела на что-то влажное.

«Бал Грансая» будет ее балом? Она вновь открыла глаза, сжала бедра и, вдруг вскочив на ноги, покружилась на месте в пылком движении вальса. А поскольку д'Анжервилль застыл на месте, будто приклеенный, и лишь едва заметное изумление просочилось сквозь его личину искушенности, Соланж повторила, завершив последний виток:

– *Bonjour, tristesse – Bonsoir, tristesse!*⁴, – а затем, метнув на прощанье улыбку, взбежала по лестнице в гостиную.

Месье Эдуар Кордье, потягивавший арманьяк и ставший свидетелем этой сцены, подошел к виконту Анжервиллю.

– Мой дорогой виконт, эпоха ускользает из рук, за пределы нашего понимания, но я ей привержен. То наши дамы того и гляди помрут невесть от чего, прямо в наших объятьях, то они вдруг оживают и танцуют, – то же верно и для политики. Вот только что мы были на грани драки, думали, что слышим первые горны гражданской войны... А это, оказывается, лишь объявление бала. По правде сказать, одна из глубиннейших черт человеческого духа – чувство правого и левого – совершенно утеряна, наши современники ее спутали.

С растерянным беспокойством он глянул вниз, на свои сильные руки с растопыренными пальцами, и продолжил:

– Знаем ли мы сегодня, какая рука у нас правая, а какая левая? Нет, дорогой мой виконт, понятия не имеем! Когда я был молод, еще получалось оформить мнение о великих событиях

³ Здравствуй, печаль! (фр.)

⁴ Добрый вечер, печаль (фр.).

согласно идеологии политической партии, к которой принадлежал. Ныне сие невозможно. Читаешь в газете какую-нибудь сенсационную, животрепещущую, значимую новость – и нипочем не знаешь, хороша она или скверна, прежде чем специалисты из твоей политической партии обмыслят ее и решат за тебя. В противном случае серьезен риск выставить себя дураком и прийти в точности к тем же выводам, что и газета наших завтрашних злейших политических врагов.

Покуда длилось это разглагольствование, виконт Анжервилль постепенно вел месье Кордые к дверям у подножья лестницы и в заключение добавил:

– Как бы то ни было, уж коли Грансай устраивает бал, отчего бы нам на нем не станцевать? Что может для нас быть лучше, покуда мы ожидаем развития событий?

Балы Гранса с самого начала другого послевоенного периода всегда становились блистательными событиями в истории парижской жизни, и это высокое общество, сейчас вновь наполнявшее гостиную графа, инстинктивно чувствовало, что их *rôle*⁵ как правящего класса напитывалась подлинностью и общественным значением скорее поддержанием престижа французского изящества и остроумия, нежели погрязанием в самоубийствах и выхолощенных политических бормотаньях. Вот это сплочение сил, это возрождение сознания своей исторической *rôle*, какую даже самые хитро просчитанные девизы идеологического жаргона того времени не в состоянии были запечатлеть, удалось Грансаю – и *его* девизу: «Бал».

И вот этим единственным словом, что раздуло уголья глубокой сути легкомыслия их общей традиции до жаркого пламени, граф пытался восстановить вокруг себя нерушимое единство национальной «натуры», коя долженствовала быть у всего французского народа в день, когда подействует яд войны, ибо правда, согласно одной из теорий Гранса, в том, что войны суть вопросы характера, а не идеологии, и что исторические константы великих вторжений зачастую лишь маскируют геополитическую развязность наций.

После этого сократического ужина, в ходе которого никто не пытался закрыть глаза на судьбы страны, план большого бала теперь озарился в гостиной графа кострами, пылающими крестами, крестами крюковатыми, геральдическими лилиями и серпами с молотами, что утопили площадь Согласия в крови накануне вечером.

Грансай, противу своих привычек объявивший об этом давно лелеемом плане бала в угаре мгновенья, подивился успеху его и тут же отказался от замысленного тет-а-тет с Соланж де Кледа – из тех, что столь тщательно подготавливаются при помощи записной книжки; сей тет-а-тет, опять же вопреки привычкам, он имел праздность не приготовить, и это принудило бы его к психологическим неуклюжестям, кои он себе никогда не простил бы.

Соответственно, он решил предпринять строго противоположное от того нежного и внимательного тет-а-тета, коего он ждал неделями, – изобразить безразличие, позабыть о присутствии Соланж на весь остаток вечера. Такое отчуждение, следующее за обожающими взглядами, какими он наградил ее в завершение ужина, непременно создадут желанное беспокойство в этой женщине, на которой он вот только что имел мимолетное желание жениться.

Едва ли не буйное поведение Соланж с той минуты, как все покинули обеденный стол, предоставило Грансаю дополнительные причины обращаться с ней едко – как со слишком шумным и бестолковым ребенком, которого лишь неотразимое обаяние и сияние красоты делали незаменимым для заполнения лакун в орнаментальной атмосфере его салона, где, справедливости ради стоит отметить, никогда не было недостатка в потрясающих образцах редчайшей и умнейшей женственности, но справедливо и то, что благородство рождения, соединенное с еще более скрупулезными достоинствами интеллекта, держали доминантную ноту.

⁵ Роль (фр.).

Подстрекаемая к дерзости смутным предчувствием грядущего триумфа на «балу Грансая», Соланж де Кледа героически приняла *rôle*, которую только что предписал ей граф – приняла с таким будоражающим ехидством и обаянием, что Грансай немедленно почувствовал: с его недобрых намерений сорвали маску. Гости забавлялись, наблюдая за ней, а она двигалась в подобии нескончаемого танца от одного вазона с цветами к другому и собирала из бутонов украшения для своей прически, одно обворожительней другого; она срывала цветы, а затем безжалостно их отбрасывала. Под влиянием сиюминутного вдохновения Соланж сопровождала каждый произведенный эффект пантомимой и интерпретационным комментарием цветов, подвергаемых мучениям. Каждую следующую сценку встречали шумным одобрением, и сам Грансай, лицемерно преодолев свою сдержанность, взялся делать вид, что его трогает пасторальная поэзия ее игры.

Но вот Соланж собрала несколько длинных плетей звездообразных листьев плюща, заплела их вокруг головы так, что у нее за ушами ниспадали они до пола. Затем проделала дырочки в двух листках и поднесла их к глазам на манер маски. Все зааплодировали этому преображению, какое подошло бы и чистейшей сказке, после чего свежая тишина воцарилась в ожидании сценки, какую Соланж разыграет с плющом.

Она быстро пробежала на цыпочках и на миг замерла на месте, вся дрожа, пред графом Грансаем. Внезапно пав у его ног, она бережно, однако крепко обвила его колени руками и умоляюще, возвышенно, с едва заметной колкостью иронии, ужалившей графа, немощно воскликнула:

– Должна я цепляться, иначе погибну!

Никто больше не заикался о бале. Художник Берар, в бороде, подстриженной а-ля Курбе, сидел на полу, упокоив оба локтя на коленях герцогини Сентонж, и обращал восторженное внимание всех на Соланж, убежавшую в дальний угол гостиной, где Дик д'Анжервилль помогал ей сложить украшение из листьев на обширный малахитовый стол, по которому разбросаны были цветы, использованные ею в ее представлении.

Соланж мгновенно окружили, и гостиная разделилась надвое – одна группа сгрудилась вокруг Грансая, а в другой царила мадам де Кледа. Поклонники последней восклицали теперь изумленно и восторженно. Она только что изобрела новую игру. Три бриллианта из своих серег она увенчала наверху трех трепетных стеблей, и получился поразительный цветок: три настоящих пестика розовато-лиловой лилии она заменила тремя бриллиантами. И тотчас все женщины поснимали с себя украшения, в новом беспорядке усыпав стол драгоценными камнями, кои, с их слитными огоньками, словно бы воскресили поблекшие и увядшие огни цветков.

– *Messieurs, Mesdames, faites vos jeux*⁶, – проговорил Дик д'Анжервилль учтиво, настойчиво.

– Зеленое выигрывает! – воскликнула Беатрис де Бранте, поместившая маленькую изумрудную черепашку на лист гардении потемнее, и вышло так однородно, будто они были созданы друг для друга. Все принялись состязаться друг с другом, создавая самые неожиданные и блистательные сочетания из чистого хаоса. Повсюду живо порхали руки, жадно пробуя различные комбинации, их лихорадка и соперничество все ожесточались и теперь казались шуточной потасовкой – то все бросались к одному и тому же цветку или к одной и той же драгоценности, одному и тому же замыслу. Но игра завершилась так же внезапно, как и началась – всем наскучило. В завершение Соланж поместила себе меж грудей желтую розу, к которой приделала большого жука Фаберже с рубинами и бриллиантами слегка не посередине. Неожиданный эффект этого сочетания оказался таков, что роза вдруг помстилась

⁶ Господа, дамы, делайте ваши ставки! (фр.)

искусственной, а жук – столь живым и настоящим, невзирая на камни, что Соланж опять удостоилась восторгов.

И все же центр притяжения салона сместился. Чуть стыдливо все забросили эту детскую забаву (коя, тем не менее, в грядущем стала частью наивысшего шика парижской моды) и опять обратились к событиям на площади Согласия и к балу.

– Список, – воскликнул художник Берар, – давайте составим список! – И помахал листком белой бумаги, за которой сходил к столу Грансая.

Соланж, скромно устроившись у ног графа, произнесла с искренностью:

– Как это волнующе – начать первый список бала Грансая! – Этой заискивающей репликой надеялась она снискать его прощение за свое недавнее торжество.

– Но, дорогая моя, – вымолвил он, отечески поглаживая ее по волосам, – вы же прекрасно знаете, что не гости имеют значение в таких случаях. – И добавил тоном человека, вынужденного повторять то, что уже говорилось вновь и вновь тысячу раз: – Балы устраивают для тех, кого не пригласили.

– Что же это за удовольствие – планировать бал в таком духе! – с досадой воскликнула Соланж.

– Разумеется, не будет никакого удовольствия, – едко ответил Грансай, но добавил снисходительно: – Знаете ли, милочка, в нашем возрасте на балы уж не ходят ради удовольствия!

О да, она знала: Грансай никогда и ничего не делал для удовольствия!

Соланж провела бессонную ночь, не спустилась к трапезе, и Пранс принес ей завтрак в постель, объявив, что чай подадут в комнате графа перед отбытием гостей. Дик д'Анжервилль должен был отвезти ее в Париж на своей машине ближе к вечеру.

Мадам де Кледа, подверженная той разновидности детского страха, что вынуждал верить, будто ее довольно частая бессонница подрывает здоровье вплоть до угрозы жизни, почти сверхчеловеческим усилием воли заставила себя проглотить хоть немного пищи, после чего позволила себе погрузиться в беспокойную полудрему, а любой тишайший звук вызывал в ней судорожные содрогания, но их, следуя за переменчивыми сновидениями, она зачастую могла преобразовать в сладострастные ощущения.

Ближе к четырем пополудни Соланж принялась готовиться к чаю. Она чувствовала слабость, в груди было тяжело. Смутная тошнота требовала беспешности в облачении, а время от времени приходилось замирать и слушать, как бьется сердце. Недостаток сна вцепился ей в кожу вокруг раздраженных глаз, обескураженно и боязливо ждала она своего появления в этом новом невыгодном свете пред Грансая, тем более понимая, что ей будет еще труднее таким образом дотянуть свой образ до того, какой ей удался вечером накануне, а он был результатом трехнедельной сосредоточенной подготовки, особого ежедневного, ежеминутного, непрерывного, исключительного и отчаянного героического прилежания. Наконец, готовясь к ужасному мигу, она приблизилась к зеркалу, взглянула на себя – и восхитилась своему внешнему виду. Никогда прежде, подумалось ей, не выглядела она столь соблазнительно. Усталость глаз лишь подчеркнула всепоглощающее горенье взгляда. Рот ее был так бледен, а внешняя кромка так легко оттенялась оливковым тоном лица, что улыбка проявлялась как хрупкая, тепло очерченная изогнутая линия, отмечавшая соединение ее почти прозрачных губ, похожих то на те, что у призрачных бестелесных алебастровых статуй, то на те, что у плотных и двусмысленных изображений, запечатленных одной линией нечеткого угольного карандаша Леонардо.

Мадам де Кледа склонила меланхолическую голову так, что лоб ее коснулся зеркала. Улыбнулась себе со столь близкого расстояния, что образ ее от дыхания затуманился до невидимости, будто, покуда оставалась она неподвижна, бесплотность отражения проникла в ее

тело и вернула к жизни, пробудив все жесты новой вспышкой беспокойной и решительной силы.

Коли нет возможности походить на ту женщину, коей она была накануне вечером, она сделает в таком случае противоположное – воспользуется беспредельным богатством нежности ее мертвенной бледности, произведет максимальный эффект своей обескровленностью.

Соланж сотворила прическу с маниакальной прилежностью и безупречностью, но совершенно не стала краситься и тут же выбрала наряд, одновременно и искусительный, и строгий: он ярко оттенит духовное напряжение ее лица. На обнаженный торс надела черную шелковую блузку, тяжелую, блестящую, открытую спереди до середины живота.

Груды у Соланж были маленькие, почти девические, и такие тугие, что вертикальные складки шелка скользили меж ними живым движением угрей, пойманных меж двух полированных камней в солончаках, из коих солнце пожрало всю воду. Каждое ее движение, неповторимо резкое и непредсказуемое, стремилось обнажить плотную ослепительную округлость ее бюста, производя эффект невинного бесстыдства, что под стать спартанской гордости античной амазонки.

К этой несколько неформальной и скудной верхней части костюма Соланж добавила сверканье нескольких нитей природных изумрудов и рубинов, чья гладкая, холодная и юркая жесткость придавала вид чуть более прикрытый жесткости набухшей и лихорадочной ее плоти. Затем она сурово, до боли, стянула талию широким новым розоватым поясом из матовой кожи, и это варварское стяжение цинически подчеркнуло весьма выступавшие кости таза, кои, устремляясь в небеса, тонкие, словно два кинжальных лезвия, казалось, вот-вот прорежут насквозь шерсть юбки, гладко облекавшей ее бедра.

В дверь постучали.

– Вы готовы? – спросил Дик д'Анжервилль.

– Да, – отозвалась Соланж и пригласила его войти. Она стояла посреди комнаты, сложив руки на груди, будто замерзла. Д'Анжервилль разомкнул ее руки и задержал распахнутыми.

– Смотрится упоительно, а кроме того, это так умно.

– Что именно? – переспросила Соланж, изображая непонимание.

– Всё, – ответил он. – Ваше платье, осознанное отсутствие макияжа, всё вместе заставляет настойчиво думать о...

– О чем? – живо подхватила Соланж.

– О любви, – сказал д'Анжервилль.

– Идиот! – отозвалась Соланж снисходительно. – Вы собирались сказать что-то гораздо лучшее.

– Да, вы правы, – пылко согласился д'Анжервилль. – Я собирался сказать, что вы заставляете думать о постели – жутко шикарной, неприбранной постели. – А потом добавил, сменив тон: – У вас глаза красные.

– Вы идите, – сказала Соланж с поспешной настойчивостью, – увидимся в комнате у графа, я быстро. – И с этими словами она предложила ему обе ладони для поцелуя.

Закрыв за ним дверь, она устремилась в ванную, включила очень горячую воду, пропитала ею сложенную салфетку и прижала на несколько минут к векам. Глаза у нее красные? Так пусть будут еще краснее!

Эти красные глаза тоже могут быть соблазнительны, ибо «обманывающий печали закликает их».

Соланж де Кледа стремительно вошла к графу: он сидел и беседовал с Диком д'Анжервиллем и мэтром Жирарданом посреди комнаты за столом, накрытым к чаю. Все тут же прекратили разговор, и Грансай, которому всегда требовалось некоторое время, чтобы

подняться на ноги, еще не встал со своего места, когда Соланж оказалась рядом, подставляя щеку для поцелуя и одновременно усаживаясь на подлокотник его кресла. Грансай отодвинулся глубже, чтобы оставить ей побольше места, и покуда он устраивался заново, привычно провел рукой позади Соланж, и она почувствовала, как рука графа нисходит вдоль всей длины ее спины и задерживается у кожаного пояса, медлит, восхищаясь тонкостью ее талии, затем на миг замирает без движения на выдающейся тазовой кости, которую он стиснул в горсти движеньем столь естественным, будто взялся за неодушевленный предмет. Вот уж пальцы графа мягко ласкают ее и, нащупав шов юбки, скользят вдоль него, граф сжимает его кончиками ногтей, и шов, словно рельс, ведет вниз движение его руки, парящей над ее бедром, едва касаясь его.

Вопреки кажущейся уверенности всех этих движений, граничащей с безразличием, Соланж по непостижимым оттенкам дрожкой неловкости тут же предположила, что рука Грансаия трепещет. Так она успешно добилась первого задуманного результата – робости. И она исполнилась решимости удержать это преимущество, зная, что таков один из вернейших способов влияния на гордого графа, ибо Грансай, несомненно, оказался мгновенно потрясен огорошивающим видом Соланж, хотя времени оценить, что именно изменилось в ее облике, у него не было.

Соланж была слишком рядом, чтобы привольно ее разглядывать, и это лишь усилило в графе смешенье чувств. Он вдруг обнаружил, что держит в руках тело нового создания, кое к соблазнам очень относительной, неутоленной близости, постоянно усиливаемым игрой вдумчивой сдержанности, неожиданно прибавило другое, совершенно не ведомое и желанное, явленное всего на миг, будто во вспышке молнии.

Соланж, ведомая женским инстинктом своей страсти, безусловно располагала почти чудодейственным даром перевоплощения. Ибо кто поверил бы, что она – не только та самая женщина, какой была накануне вечером, но что вот эта мадам де Кледа, ворвавшаяся в комнату графа с такой высокомерной, своевольной и бестрепетной непринужденностью, – та самая Соланж, кто совсем недавно корчилась в глубинах одиночества своей комнаты, исполненная тоски, осажденная детскими страхами и изничтоженная головокружительной агонией сомнений.

– Вы, похоже, забавляетесь проверкой крепости моего скелета, дорогой Эрве, – сказала мадам де Кледа, останавливая его руку. – Однако из всех своих костей я предпочитаю коленные. – С этими словами она подняла руку Грансаия и позволила ему прикоснуться к своим коленям, свежим, гладким и тронутым голубизной, будто речные камни, затененные бледностью сумерек.

Затем, обращаясь к Дику д'Анжервиллю с несколько театральным нетерпением, она сказала:

– Мне нужно быть в Париже завтра не позднее шести. Вы обещали мне, а значит, нам не следует задерживаться. У меня страшно важный ужин.

– Скучный? – уточнил Грансай.

– Нет, чарующий! – отрезала Соланж с лаконичностью, донесшей ее намерение не вдаваться в дальнейшие подробности.

Наступила тишина, и мадам де Кледа, сменив тон и наливая себе чай, продолжила:

– Что же за скверную новость принес нам сегодня мэтр Жирардан? Рошфор по-прежнему просит полтора миллиона за откуп Мулен-де-Сурс?

– Гораздо хуже того, моя дорогая мадам! – ответил поверенный, удостоверившись взглядом, что Грансай не возражает против такого поворота разговора. – Подумать только, – продолжил Жирардан, – это ничтожество Рошфор, уступив давлению несказуемой интриги наших политических врагов, только что подписал завещание, условия которого направлены

исключительно на то, чтобы не позволить землям, прилегающим к Мулен-де-Сурс, когда бы то ни было вновь стать частью владений Грансая.

– Совершенно немыслимо, – вставил Дик д’Анжервилль, едва сдерживая негодование. – И знаете, каковы у всего этого политические мотивы? Да просто граф Грансай с его антинациональным духом недостоин выкупить свои бывшие владения!

– Есть ли на свете больший француз, чем граф? – спросила Соланж, нервно поводя плечами, делая вид, что не понимает сути дела.

– О да, разумеется, – ответил Жирардан.

– Кто же? – спросила Соланж.

– Русские, – ответил поверенный удрученно. Д’Анжервилль поддержал его едва заметной улыбкой. – Поймите, моя дорогая мадам де Кледа, – продолжил Жирардан, – что граф посвятил свою жизнь воплощению одного-единственного плана: сохранить равнину Крё-де-Либрё, любой ценой оградить ее от демонического ужаса, какой последует за индустриализацией этого исключительно сельскохозяйственного края, осененного плодородием богов с древнейших времен. Но наши левые партии, вдохновляемые Москвой, имеют иные соображения. Они предпочитают хорошо оплаченную низость буржуазификации шахтера благородной и зажиточной суровости наших пейзан. По сути эти прогрессисты, шумно требующие наших шахт, не имеют даже и подходящего предложения для войны, ибо именно они – те, кто систематически голосует против всех планов вооружения!

Вновь воцарилось молчание, однако на сей раз никто не собирался его прерывать – все погрузилось в обозначенные поверенным неурядицы.

Грансай же преследовал страх, что однажды его Вергилиевы равнины Либрё могут быть заполнены смертельным авангардом промышленного прогресса. Такого ни за что не произошло бы во времена его владения практически всей округой, а ныне он оказался бессильен помешать кому бы то ни было заявиться и использовать минеральное богатство земель, которые ему более не принадлежали.

– Нам, без сомнения, придется рано или поздно сдаться, – вздохнул Грансай, – и признать нашу историческую *rôle* врагов прогресса, поскольку, разумеется, попытки не допустить любой ценой превращение этой равнины, вдохновлявшей лучшие пейзажи Пуссена, прямо на наших глазах в позорное и унижительное, покрытое копотью безобразие панорамы, отравленной механическим мусором промышленных зданий, противны прогрессу. День, когда это случится, я стану считать днем бесчестья моей страны. – Взбешенный Грансай, более не в силах оставаться на месте, поднялся на ноги.

Дик д’Анжервилль взял его под руку и повел к столу, нерешительно успокаивая:

– Мой дорогой граф, – говорил он, – верьте слову, я смогу применить свое британское влияние – ничто не будет предпринято без участия британского капитала, а кроме того, пресловутая лень и безынициативность правительства окажется нам в этом деле очень на руку.

Мэтр Жирардан, в своем пессимизме считавший индустриализацию равнины неизбежным несчастьем, кое в лучшем случае можно лишь отсрочить, пододвинул свое кресло ближе к мадам де Кледа: та осталась в одиночестве, откинувшись к спинке кресла и попивая чай мелкими глотками.

– Моя дорогая сударыня, – сказал поверенный, – мы бессильны, и я остро сожалею, что эта неприятная тема оказалась поднята исключительно по моей вине и так несчастно потревожила обаятельную интимность собрания. Нас, поверенных, в такие приятные минуты следует держать в сторонке и подпускать лишь в исторический час – в десять утра – для объявления крахов либо удач.

Мадам де Кледа не ответила, и он решил, что в его ответственности оправдать пренебрежение графа. Последний был полностью погружен в беседу с д’Анжервиллем, оба говорили вполголоса, возбужденно.

– Я знал, – продолжил поверенный, – о привязанности графа к равнине Либрё с его детских лет. Но поверьте, сударыня, никогда бы не предположил, что новости, кои я сегодня обязан был донести до него – категорический отказ Рошфора, – так глубоко его заденут. Мало кто может льстить себе, будто знает душу графа так хорошо, как ваш покорный слуга. Есть люди, полагающие его столь амбициозным, что он желает начала войны, коя может вернуть ему политическую власть, а на самом деле единственное устремление графа – сохранить наследие Либрё и однажды смочь вновь высадить эти триста квадратных метров пробковых дубов, срубленных Рошфором при дележе.

– Получается, по-вашему, – сказала Соланж тоном легкого саркастического упрека, – что нескольких сотен пробковых дубов хватит, чтобы утолить стремления самого красивого и блистательного из Грансаев?

Мэтр Жирардан склонил голову с почтительным достоинством и кратко ответил:

– Да, сударыня, и одного будет достаточно! – Взяв со стола сахарницу, он показал ей герб, рельефно выгравированный на ее изгибах. – Видите, трех корней хватит! – Он указал на три корня одинокого пробкового дуба, подобные таковым у моляра, – единственного символа на поле, украшенном лилиями.

– Ничего не могу поделать с собой – мне это все равно кажется несколько неинтересным, – заметила Соланж. – Мне нравятся гербы с когтями, реками, пламенами, звездами или даже драконами, и, обратите внимание, дорогой мэтр Жирардан, какое воздержание и хороший вкус я выказываю, не желая вдобавок ангелков и сердечек!

Мэтр Жирардан, тронутый мягкостью речей мадам де Кледа, со рвением извлек свои очки и одолжил ей, дабы, прикладывая их к сахарнице, могли они применить их как увеличительное стекло. Теперь Соланж могла отчетливо прочесть геральдический девиз, написанный на ленте, заметной в верхних ветвях дуба:

JE SUIS LA DAME⁷

Соланж тут же взгляделась внимательнее в изображение в целом, мгновенно различив его антропоморфный смысл. Она увидела маленькое женское лицо, проступившее в гуще листвы, и обнаженный торс, образующий часть ствола, с которой содрали кору, платье из пробки скромно укрывало остальное тело от пупа и ниже, а три корня уходили в землю.

Сходно, в верхней части голые плечи женщины-древа растворялись в грубой поверхности коры, обращаясь в кустистые ветви, кои, невзирая на путаницу переплетений, сохраняли недвусмысленно человеческие черты распахнутых молящих рук.

Старый слуга Пранс беззвучно вошел в залу и объявил Грансаю, что мэтр Либрё желал бы поговорить с виконтом Анжервиллем. Последний, решив заглянуть в мэрию всего на миг, пообещал Соланж заехать за ней вовремя и отправиться в путь в половине шестого, а мэтр Жирардан воспользовался этим поводом, чтобы удалиться. Пока Грансай провожал д'Анжервилля и мэтра Жирардана до дверей, Соланж вернула сахарницу на место, а сама устроилась на небольшой скамье в углу просторного балкона. Когда Пранс пришел с объявлением, она исподтишка глянула на часы на каминной полке. Внезапно наметился тет-а-тет с графом на три четверти часа, и она ни за что на свете не желала этой беседы посреди бесчувственной, слишком церемонной комнаты.

Вперив взгляд в равнину, Соланж собралась в комочек, уложив подбородок на колени, изо всех сил, до боли сведенные вместе. Она почувствовала, как медленно приближаются неровные шаги Гранса, а затем его губы пылко поцеловали ее в макушку, а ладони скользнули ей под руки, попытались поднять ее.

⁷ Я госпожа (фр.).

– Вам здесь неудобно, – сказал Грансай, – идите, вытянитесь на моей постели.

Соланж откинула голову, впервые подставив все лицо его взгляду, и спросила:

– Что, так похоже, что я умираю?

– Нет, вы божественно красивы, но выглядите уставшей, очень уставшей.

С этими словами Грансай, просунув одну руку под колени Соланж, легко поднял ее к груди и понес к кровати, где мягко уложил, внимательно разместив так, чтобы голова легла в точности на середину маленькой очень плоской подушки, затянутой в серо-стальной шелк.

Грансай тут же сходил за столиком и подтянул его к кровати. Соланж лениво вытянула ноги, и кости в коленях поочередно хрустнули с тем же звуком и в тот же миг, когда лозные плети, добавленные недавно Прансом для оживления огня, занялись и начали потрескивать в камине.

– Вы совершенно изнурены! – сказал граф, устанавливая столик. – Так старались ослепить меня вчера вечером.

– С чего вы так решили? – спросила Соланж не слишком веско.

– Как же иначе? – ответил граф с позабавленным видом. – Вы только что в присутствии д'Анжервилля заставили меня поверить, что у вас назначена встреча за ужином, которой точно не будет и которую вы придумали, исключительно чтобы раздражить во мне слабость любопытства. Но, к моему сожалению и к моей же досаде, я повидал столько подобного, что уж невозможно спутать состоятельность подлинного ужина с воображаемым. В своем мире я стал как те пейзажи, что могут сказать, лишь взяв яйцо в руку, вылупится из него цыпленок или нет.

Соланж не ответила. Она так рада была ощутить, как ее тело, непрерывно болевшее от сверхчеловеческой *rôle*, которую она играла, теперь мягко покоилось на кровати обожаемого ею существа, что провоцирующее поддразнивание графа скользнуло ей по сердцу, не оставив и малейшего следа озлобления. Грансаю сейчас вольно было оскорблять ее, и ее это несколько не задело бы.

В томном блаженстве она закрыла глаза, ощущая перед собой присутствие графа, стоявшего у изножья кровати, смотревшего на нее изучающе, но при этом будто не видевшего ее.

– О чем мы думаем? – спросила Соланж тихо и мечтательно. – Я думаю о нас – было бы мило уже наконец попытаться поверить в наше с вами желание. А вы думаете о своих лесах!

– Верно, – ответил Грансай. – Я думал о своих лесах. Почему бы нам обоим не попытаться – со всем смирением – понять, что для нас естественно? В конце концов и в самом деле это слишком глупо – стараться любой ценой раздражающими усилиями воображения убедить себя самих, что нас за пять лет заигрываний поглотила взаимная страсть. Если б хоть самую малость желали этого, мы нашли бы сотню okazji предаться любви – и предать ее. Нам бы даже хватило времени последовать совету д'Аннунцио, сказавшего... – И Грансай процитировал дребезжаще, чуть пародийно: – «Всяк должен убить свою любовь своими же руками пять раз, чтобы любовь пять раз возродилась, в пять раз ожесточенней».

Соланж, задетая за живое этим издевательством, почувствовала себя словно при смерти, а Грансай продолжил дружеским тоном лицемерной мягкости:

– Кстати, я бы дал мадам де Кледа совет: она достигла столь утонченного уровня красоты, изящества и превосходства, что необходимость продолжать, с совершенно ребячливым романтическим бесстыдством, ее попытки создать вокруг себя литературно-поэтическую атмосферу, совершенно отчетливо выдающую ее буржуазное происхождение, чрезвычайно огорчительна.

– То же верно и применительно к графу Грансаю, – парировала Соланж, передразнивая его манеру. – Слабоумное бесстыдство, с коим он являет свою прозаическую посредствен-

ность, совершенно отчетливо выдает в нем провинциального помещика! – Последние два слова она подчеркнула пылким всплеском сарказма.

Грансай отвернулся и, чуть нелепо хромая, подошел к балконной двери, которую открыл резким движением, будто воздух в комнате удушал его.

– Провинциальный помещик! Как верно! – воскликнул Грансай. – Видите ли, – проговорил он, тыкая пальцем в прогал посадок пробкового дуба, – эти несколько недостающих деревьев значат для меня больше, чем ваша жизнь! Из-за таких вещей раздражаются войны. Улыбка покойных отцов с годами блекнет в нашей памяти, но не забывается отнятый клочок земли или выкорчеванное дерево. Забываются пять лет глупого высокомерного флирта – но не отметина в сердце собственности, о нет! Такое никогда не забывается.

Все это Грансай произнес, не оборачиваясь, лицом к панораме, пытаясь выковырять обширный кусок мха, проросшего в стыке между камней балконной балюстрады. Наконец мох поддался, выпав вместе с крошками цемента, заполнявшего трещины в кладке. Сжав его в кулаке, Грансай со всей силой запустил комком в сторону леса.

Соланж вдруг позволила себе громкий театральный взрыв смеха, но так же внезапно прекратила его, ибо Грансай развернулся и приближался теперь к кровати: лицо его исказилось от чувства и было полно такой злобы, что Соланж испугалась. Никогда бы не могла она вообразить, что он способен на столь пылкую ненависть. Но поздно было менять манеру, и Соланж сохранила вызывающую улыбку, кою Грансай более не мог выносить и решил стереть ее грубой силой. Он схватил ее за лицо и погрузил ее голову в подушку, сжав со всею мощью.

Соланж не двигалась, глаза ее, как у загнанного зверя, расширились.

– Я не желаю видеть эту улыбку у вас на лице, – прорычал Грансай. – Дура! Что вы знаете о моем мире! – Покуда он произносил это, все более судорожно стискивая ее, его мизинец проскользнул во влажную щель рта Соланж так, что его крупный золотой перстень грубо чиркнул ей по деснам, которые тут же закровоточили. Резко придя в себя, граф, придавленный совестью, пал на колени у изножья кровати и взмолился о прощении.

Соланж встала, склонилась на миг к плечу Грансая и в свою очередь направилась к балкону, однако наружу не вышла, а осталась стоять в углу, заслоненная темной тенью тяжелой портьеры. И тут ее плечи, вскидываясь и опадая от частого дыхания, сотряслись судорожным рыданием.

Грансай приблизился, взял ее лицо в руки, на сей раз – с безбрежной нежностью, – и поцеловал в губы. Никогда прежде не целовал он ее так – и делал это, поняла Соланж, лишь чтобы заслужить прощение. Она перестала плакать.

– Забудем об этом, дорогой, – сказала она. – Я слишком счастлива была на вашей кровати. Не желаю больше играть – я безумно люблю вас, нравится вам это или нет!

В эту минуту они услышали шаги мэтра Жирардана, сопровождаемого Диком д'Анжервиллем, – последний шел забрать Соланж. Она отошла к зеркалу над камином, делая вид, что поправляет прическу, и утерла кровь с подбородка, а Грансай тут же включился в разговор с д'Анжервиллем и поверенным об их визите к мэру Либрё.

Соланж собралась, и граф попрощался с ними на пороге своей комнаты. Во дворе Пранс помогал д'Анжервиллю, у которого была мания укладывать багаж: он настаивал на том, что все погрузит сам и так, чтобы использовать как можно меньше места. Мадам де Кледа расхаживала взад-вперед, а потом подошла к полукруглой каменной скамье, стоявшей позади очень старого кипариса; на ней была оставлена ивовая корзина со свежими яйцами. Соланж оперлась одним коленом о скамью, взяла яйцо, разбила его и проглотила содержимое. Потом еще одно, и еще, всего счетом пять.

Надо больше есть. Когда доберется до Парижа, станет беречь себя, как никогда прежде. Чувствуя, что скоро уж они отправятся, Соланж взяла последнее яйцо, разбила и в мгновение

ока выпила. До сих пор все эти мелкие манипуляции она проделывала крайне осторожно и не расплескала ни капли, но в этот раз самая малость белка скользнула по ее подбородку и упала наземь. Носового платка при ней не было, и она утерлась тыльной стороной ладони, на миг замерла, склонив голову вперед, чтобы яичный белок не испачкал ей одежду, после чего вытянула руки и растопырила пальцы – высушить.

Тут она услышала, как крышка багажного отделения нерешительно хлопнула, а затем хлопнула вторично – сильно и окончательно. Желая вести машину, Соланж устроилась за рулем, и вот уж они въезжали в многообещающую ночь бескрайнего леса громадных каштанов, что встали тоннелем над дорогой, как на знаменитой картине Фрагонара из коллекции Честера Дейла. Двадцать минут прошло в молчании, а поскольку руки Соланж держала на руле, она чувствовала, как подсохший яичный белок стягивает ей подбородок, вынуждая ее время от времени морщить лицо в гримаску, придававшую ей вид трогательный и несчастный.

У Дика д'Анжервилля, исподтишка за ней наблюдавшего, уже плясало на кончике языка привычное «*Bonjour, tristesse*», но в этот раз, поскольку ни слезы ее в комнате у графа, ни маленькая царапина в уголке рта не ускользнули от его внимания, д'Анжервилль хранил безмолвие и включил негромко радио. Соланж позволила себе погрузиться в причудливые раздумья, вязкие и всепоглощающие, прерывалась и вновь возвращалась к ним, с всевозрастающей настойчивостью. Она представляла, как, пройдя сквозь тысячу героических испытаний, она выкупает владения предков Грансая, своим неустанным упорством ограждая равнину Крё-де-Либрё от индустриализации и наконец высаживая заново те три сотни квадратных метров пробковых дубов. Жертвой Соланж де Кледа геральдический дуб графов Грансаев вновь растет и увековечен.

Кроме того, она ли не та Госпожа, не тот ли пробковый дуб?

В поместье Ламотт, предоставленные своему привычному уединению, граф и его поверенный готовились к ужину. В то утро Грансай сказал Прансу:

– Нынче вечером я склонен к *salade au coup de poing!* – И Пранс выставил на стол все необходимое для приготовления салата «Удар кулаком», как он назывался в тех краях.

Когда граф и его поверенный уселись за стол, Пранс поставил перед графом объемистую миску, в коей виднелась грубая горбушка половины буханки крестьянского хлеба, вымоченная в темно-красном соке, смешанном из растительного масла, уксуса, мелко порубленной кровяной колбасы и щепотки натертого шоколада. Затем мэтр Жирардан взял крупную очищенную луковицу, поданную ему Прансом на сложенной салфетке, и поместил ее в самую середину хлеба, по-прежнему удерживая ее кончиками пальцев на месте. Грансай сжал ладонь в кулак и угрожающе занес его над луковицей, прицелился. Затем мощно стукнул кулаком по луковице, размозжив ее на многие куски, рассыпавшиеся по хлебной корке, а та в свою очередь, тоже раскрошилась. Тут полагалось насыпать блюдо свежим цикорием, а также помолоть в блюдо соль и перец. Успешный удар был сигналом Прансу, следившему за ритуалом хозяина с предельным взволнованным вниманием, что можно спокойно возвращаться на кухню, а мэтр Жирардан, словно пораженный внезапным видением, не отрывая зачарованного взгляда от салатной миски, воскликнул:

– О чудо! Я вижу, как от одного удара графа восстает вся равнина Крё-де-Либрё. Скажите мне, безумие это или я прав? – Чтобы получше осветить то, что желал показать, поверенный поднес свечи поближе и принялся описывать миску салата, стоявшую перед ними, с красноречивой увлеченностью, подпитанной тем, что чувствовал он, какой восторженной озадаченностью почтил его Грансай, коему эти причудливые и находчивые остроумности поверенного имели дар являть внезапное жизнелюбие. – Смотрите, мой дорогой граф, – говорил Жирардан, тыкая бледными писательскими пальцами в волнистые расколотые про-

туберанцы хлеба, – не это ли очертания наших хрустких золотых холмов Либрё, ее мягких склонов, резких неожиданных хребтов, глубоких расщелин, в коих плещут каскады свежего лука, ибо именно эти тонкие, змееподобные блестящие дольки представляют тугое перламутровое напряжение наших стремительных потоков с их серебристой пеной, когда вырываются они из снегов, что собираются на дальнем краю чаши. Роскошный цикорий представляет густолиственный передний план плодородной, богато орошаемой растительности равнины. А там, вдали, среди лесов темного латука, виднеются первые строгие пасторальные волнистости, где зерна ржи, лежа навзничь, запекшиеся в корку, представляют раздумчивое отношение к жизни созерцательного недвижимого скота, тогда как сверкающие кристаллы соли, рассыпанные по озаренным вершинам, в свою очередь представляют окна удаленных деревень, поблескивающие на вечернем солнце. А вот случайная заметная крупца соли, одинокая и тусклая на крутом берегу: это беленая обитель Сен-Жюльен. Но и это еще не все. Взгляните, мой дорогой граф, на крошечные кусочки перца, разбросанные в беспорядке, чуть удлиненные – у некоторых словно бы даже есть головы – они идут, это наши пейзажи, облаченные в черное; они заполняют низины дорог и выходящих проселков, людные шествия возвращающихся от дневной пахоты...

Грансай сидел зачарованный и меланхоличный.

– Все, что вы говорите, прекрасно, как Пуссенова Аркадия, – вздохнул он, после чего жадно набросился на салат со всей энергией ножа и вилки, что замерли на весу, покуда текла речь мэтра Жирардана.

За салатом Пранс подал трюфели, укрытые пеплом, в маленьких, безупречно белых обертках, и разлил красное вино 1923 года, кое, по словам Жирардана, имело солнечный букет. Трюфели они поглощали в молчании, а когда подали козий сыр, граф сказал поверенному:

– Ну, дорогой мой Жирардан, расскажите же мне о мадам де Кледа.

Эту просьбу он озвучил тем же тоном, каким мог попросить сыграть любимую музыкальную пьесу.

– Я только что о ней подумал, – ответил мэтр Жирардан, – покуда мы ели трюфели. Всяк видит происходящее в своем собственном свете. Виконт Анжервилль, без сомнения, видит мадам де Кледа как тело богини, населенное душой королевы, а многие из ее бесчисленных поклонников, неверно истолковывая неугасимый огонь ее взоров, приписывают ей дикарский темперамент куртизанки. Я же, поверенный, должен зрить ее в первую очередь с точки зрения моей профессии как прекрасную партию или же, с точки зрения моей неотесанной поэтической наивности, как фею. Что ж, ни то, ни другое меня не удовлетворяет. Я воспринимаю Соланж де Кледа как своего рода святу.

Заметив тень иронии в глазах графа, Жирардан объяснился:

– Милостью Божией святые зачастую имеют тела, красивые, как Афродита. Нынче вечером, все время за чаем, я наблюдал за мадам де Кледа. Одета она была столь едва, что всевластье ее тела было безошибочно, однако она часто складывала руки на груди, будто мерзла, одновременно принимая позу скульптурной обнаженной, восстающей из ванны, и святой, внимающей посланью небес. Наблюдая за ней, я был поражен чистотой, отраженной в овале ее лица. А губы ее столь бледны, что мне приходила на ум лишь монахиня из песни, какую по сей день поют в Либрё: «Праздник в обители Сен-Жюльен».

– Я не слыхал ее, – сказал Грансай.

– Согласно местной легенде, – объяснил Жирардан, – святой Жюльен, странствуя в наших краях в сопровождении верных последователей, обнаружил усыпальницу монахини, знаменитой своей красотой. Когда гроб вскрыли, все тело обратилось в прах, а на его месте проросли чертополох и клевер. И лишь голова монахини, укрытая ослепительно-белым

покровом, осталась нетронутой, однако рот ее побелел, как мел, а по углам его прорезался жасмин.

– Вот оно что! – прошептал Грансай, словно самому себе. – Трюфели под пеплом... бумажные обертки... наголовник...

Жирардан добавил в заключение:

– И припев той песни, исполняемый с меланхолической интонацией, под аккомпанемент флейты, волынки и тамбурина, звучит так:

Ее груди – камень живой,
Ее ноги – побег травяной,
А губы – цветущий жасмин.

– Спойте ее мне, кажется, я уловил мелодию, – взмолился Грансай.

Жирардана не пришлось просить дважды, и он, отхлебнув вина, цокнул языком и напел фальцетом, точно и с дрожью в голосе, как обычно поют крестьяне Либре, отрывки из баллады о монахине Сен-Жюльена, а потом исполнил ее вновь, целиком; на сей раз граф аккомпанировал ему своим более глубоким голосом, отстукивая ритм золотым перстнем по хрустальной тарелке, которую ради резкости звука зажал в другой руке.

Добравшись до припева, мэтр Жирардан ущипнул себя за кончик носа – для пущей остроты и утонченности плаксивой интонации песни в своем пронзительном и гнусавом голосе.

– Ее груди – камень живой, – вздохнул Жирардан тонко, словно комар пискнул.

– Пм-пм-пм, – вторил ему Грансай, отмечая последнее «пм» резким ударом перстня.

Ее ноги – побег травяной,
Пм-пм-пм,
А губы – цветущий жасмин.
Пм-пм-пм,
Пм-пм-пм,
Пм-пм-пм.

Жирардан всегда уходил в половине одиннадцатого. Вот и теперь он поднялся и отклонился. Граф остался в гостиной еще на десять долгих минут, запечатлевая слова песни в записной книжке как можно медленнее, после чего уже не знал, чем себя занять. На миг он собрался было что-то сказать Прансу, который словно бы намеренно болтался рядом, будто желая завязать разговор. Но молчание так и осталось не нарушенным, и Пранс едва заметно печально улыбнулся, словно извиняясь за то, что Грансай не нашел для него слов.

Убрав остатки сервиза, он удалился, пожелав графу спокойной ночи. И вот наконец Грансай выбрался из-за стола и, медленно поднявшись по лестнице, направился к себе.

Электрическое освещение усадьбы, всегда несколько скудное, едва заметно подрагивало, и единственный шар, свисавший довольно низко с потолка четко над серединой кровати графа, был так слаб, что его тлеющая, умирающая бледность еле озаряла лишь ее.

На отвернутой простыне лежала тщательно сложенная ночная сорочка из шелка цвета моли. Согласно еженощной привычке, Грансай сперва положил поверх нее записную книжку со своими пометками, затем разделся. Обнажившись, он несколько мгновений медлил, бездумно поглаживая легкий ушиб от пуговицы, который возник под его левым сосцом, когда он крушил луковицу в салате.

Тело графа было совершенно – он был высок и красив, и чтобы его представить, можно вызвать в памяти знаменитое изображение Аполлона в Миланском музее, творенье Рафа-

эля. Облачившись в ночную сорочку чуть длиннее его дневной, граф подобрал записную книжку и отправился в тот угол комнаты, где размещался большой шкаф темного дерева, очень узкий, но такой высокий, что доставал до потолка.

Этот угрюмый шкаф покоился на четырех маленьких ножках в форме человеческих ступней с длинными стройными пальцами, в египетском стиле, выточенных из ярко блестящей золотистой бронзы. Грансай открыл обе дверцы; шкаф был пуст, за вычетом того, что на одной его полке, посередине и сподручно, размещалось несколько предметов: левее – крошечный детский череп, увенчанный тонким золотым нимбом, приписываемый святой Бландине, – его Грансай хранил с тех пор, как началась реставрация домового церкви; рядом с этой реликвией ребенка-мученицы лежали скрипка и смычок, а чуть далее – черный ключ, украшенный серебряным распятием, прилагавшийся ко гробу, где покоилась мать графа. Как в любой другой вечер, Грансай положил записную книжку в шкаф и достал скрипку, но не успел склонить голову, чтобы зажать инструмент между плечом и подбородком, как услышал шум, заставивший его обернуться. За приоткрытой дверью возникло улыбающееся лицо старухи.

То была верная экономка Грансая, которую граф всегда называл «канониссой Лонэ», с намеком на Стендалеву «Пармскую обитель».

– Добрый вечер, канонисса, – сказал граф, опуская скрипку на кровать.

Канонисса вошла, неся в одной руке блюдо с двумя вареными артишоками, к которым граф имел страсть, когда его посреди ночи охватывала бессонница. В другой канонисса держала обширную косматую перчатку из кошачьей шерсти, коей она регулярно массировала хроющую ногу графа, подверженную приступам острой ревматической боли. Канонисса была почти демонически уродлива, но благодаря своей неглупой веселости и бодрому виду располагала некоторой привлекательностью. Она была чистюлей до невероятия, с кожей нежной, но чудовищно сморщенной, а правый глаз у нее беспрестанно слезился, из-за чего она время от времени промокала его белым кружевным передником.

Граф не имел от канониссы никаких тайн. Лишь ей одной позволено было без предупреждения входить в его комнату и покидать ее. В имении все решала она, и поскольку граф не мог обходиться без ее услуг, он брал ее с собой и в парижские поездки. Канонисса не вымолвила ни слова, но сразу встала на колени и принялась терпеливо и заботливо растирать графу ногу. Одним из ее ритмичных движений, чуть энергичнее прочих, полуобнажились интимные места графа.

Рукой в перчатке она почтительно одернула на нем сорочку, но другой, обнаженной и морщинистой, проскользнула под и сжала его плоть с целомудренной радостью матери, глянув на него нежно и воскликнув:

– Ох ты, ох ты, вот так благословение небес! – Той же рукой она похлопала его по колену и, поднимаясь на ноги, оперлась о него всем весом. – Вынули б головушку святой Бландины из шкафа, – посоветовала она, собираясь уходить, – я бы сроду не заснула с таким в комнате.

Уже на пороге, будто с громадным облегчением, утерла она глаз, успевший вымочить ей всю шею, куда вставала, и повторила сказанное дважды – заключительно:

– Ничто так не мешает сну, как мысли о смерти. – Пока она шла по коридору, граф слышал ее бормотанье: – Слава те Господи! Слава те Господи!

Часы пробили одиннадцать. Грансай вновь взялся за скрипку, прижал ее безмятежно, однако крепко к щеке и запустил свой виртуозный смычок по нотам арии ре-мажор Баха. Он клонился чуть вперед, колено хворой ноги упирая в кровать, разрез ночной сорочки чуть оголял его бедро, ярко порозовевшее от растираний. На раздраженной коже старый шрам раскинул свои ветви, словно темная поросль баклажанного оттенка.

Взгляд Грансая впери́лся в череп святой Бландины с маленькими целыми зубками, гладкими, как речные камешки. Чистота его заставляла графа думать о коленях Соланж де Кледа, и память о ее осунувшемся лице, облагороженном блеском слез, казалось, придала точности и божественной красоты мелодии в ее развитии, величественном и всеильном.

Грансай глубоко дышал, двигая головой вслед за мелодической интонацией горячей реки сонаты, но его бесстрастные черты отражали решимость не поддаваться эмоциям сердца, со всеми его слабостями, что затуманивают прозрачную чистоту его музыкальных интерпретаций. Ария близилась к финальным аккордам, в которых все томление ночи, казалось, достигало геометрической точки, где и оставалось подвешенным навечно, – и тут ощутил кончик мизинца на руке, державшей смычок, будто палец был все еще влажен от теплой желанной слюны Соланж де Кледа.

Глава 2. Друзья Соланж де Кледа

Примерно в половине двенадцатого поутру Барбара Стивенз, состоятельная американская вдова и наследница Джона Корнелиуса Стивенза, и дочь ее Вероника в спешке выходили из парижской гостиницы «Риц». Они проделали около пятидесяти шагов по тротуару и вошли в пошивочное заведение мадам Скъяпарелли. Десять минут второго мать и дочь покинули ателье Скъяпарелли и вернулись в гостиницу «Риц», где пообедали салатом, поданным с подобающим раболепием и церемонностью.

Они проглотили витамины двух видов, запив их двумя martini, из-за чего пожелали по третьему, а также шоколадно-фисташковое лимонадное мороженое, вслед за которым, не дожидаясь кофе, вновь отправились к Скъяпарелли, откуда опять вернулись в «Риц» к пятичасовому чаю.

У Барбары Стивенз получалось состроить некое особое выражение лица, посредством коего по прибытии к Скъяпарелли она давала понять со всей очевидностью, что пришла из «Рица», а также и другое, явленное ею в «Рице», дабы дать понять, что она только что от Скъяпарелли. Первое из двух выражений заключалось в поддержании рта в постоянно приоткрытом состоянии некоторого разочарованного томленья – полной противоположности рта, разинутого от изумления; она не ответила ни на один вопрос, заданный ей продавщицей; ее затянутые в перчатки руки задерживались у разных платьев, а сама она, бестактно делая вид, что смотрит на всякую ерунду, тайком поражалась каждому предмету. Второго выражения, предназначенного «Рицу», она добивалась закрытым, или, вернее сказать, сжатым ртом, ибо складывала губы так, чтобы получался вид раздосадованный, с оттенком отвращения столь легковесного, что происходит оно могло лишь от мелких тиранических требований, вызываемых требованиями моды, а удовлетворения их у такой ультра-утонченной дамы, как она, никогда нельзя достичь. Барбара Стивенз пробудилась тем утром в половине десятого, причиной этому пробуждению служила встреча с ее парикмахером, назначенная на половину седьмого, и встречи этой она добилась грубой силой и собиралась хладнокровно сорвать ее. Как и многие слабые создания, скованные собственной абсолютной капризностью, она чувствовала себя в своей тарелке, лишь когда могла по собственному изволу устранять заботы и трудности, коими целенаправленно загромождала себе день грядущий днем ранее.

Именно поэтому любая незначительная тревога могла стать для миссис Стивенз бесценным источником отвлечения, если вдруг возникала опасность скуки. Так, если день казался ей слишком пустым, она всегда находила, чем его захлупить, если уж не заполнить; напротив, если утро начиналось благотворно, в более волнующих обстоятельствах, миссис Стивенз принималась сладострастно освобождаться от всех обязательств, хотя, надо отдать ей должное, делала она это с корректностью, педантичностью, пристальной избирательностью в отговорках, выливавшихся в серьезный труд для ее секретарши, искусно применявшей все эти вежливые отводы с исключительным и недвусмысленным прицелом на рекламу.

– Миссис Барбара Стивенз сожалеет, но явиться на последнюю примерку не сможет, поскольку ей необходимо быть на благотворительной встрече в Британском посольстве в туфлях с маленькими бриллиантовыми часами, вправленными в каблучки.

– Миссис Барбара Стивенз желает отменить обед в «Ларю» в виду прибытия короля Греции.

– Миссис Барбара Стивенз покорнейше просит месье и мадам Фернандес telefonировать ей завтра утром, она сожалеет, что не сможет посетить их коктейльный прием: ее по срочному делу задерживают юристы.

– Миссис Барбара Стивенз умоляет простить ее за отмену визита до ее возвращения из Версаля в следующую пятницу и просит отложить ей пару серег с розовым турмалином и кольцо с изумрудными кабошонами, которые так понравились художнику Берару.

– Да, разумеется, да, разумеется, – отвечал ювелир на другом конце провода. – Как я понимаю, она имеет в виду ожерелье эпохи Возрождения с маленькой кентаврессой. Да, конечно, мы отложим их для нее.

Кладя трубку на рычаг, ювелир говорил себе:

– Хм. Версаль... Должно быть, обед у Виндзоров... В какой он бишь день?... Шестнадцатое, да, пятница. Но в таком случае секретарша ошиблась. Миссис Стивенз никак не доберется сюда до утра субботы. Придется ждать до понедельника и перезванивать... нет, надо ждать утра понедельника...

Такого рода расчеты, неизбежно запускаемые телефонными разговорами в обрамленном платиной мозгу ювелира, были специальностью секретарши Барбары Стивенз.

Мисс Эндрюз же мозги имела маленькие, и слеплены они были из газетной бумаги, на которой там и сям темнели угрюмые черные квадраты вперемешку с грязно-серыми – будто полустершимися блеклыми карандашными почеркушками незавершенного и брошенного кроссворда. Она получала почти дикарское удовольствие от возможности блеснуть хоть на миг в глазах своей госпожи, когда приходила вечером за поручениями, льстиво излагая Макьявеллиевы уловки, позволявшие ей с непревзойденным убожеством вить филигранные узоры тупости для облачения слишком уж обнаженных и порывистых желаний, какие миссис Барбара Стивенз частенько оставляла там, где обронила.

– Взяв на себя ответственность отменить вашу пятничную встречу, – говорила мисс Эндрюз, ликуя, – я добила четырех различных результатов. Во-первых, увеличила мадам на два дня время принятия решения; во-вторых, дала им понять, что у мадам ужин у Виндзоров в Версале, но не сказала этого впрямую; в-третьих, сообщила Фернандесам о вашем выборе, поскольку завтра они поедут смотреть то же украшение, на которое Сесиль Гудро обратила их внимание. Их оно, конечно же, заинтересует. И тогда им скажут, что оно отложено для миссис Барбары Стивенз.

– Уверена, мадам Гудро слышала о нем от Берара, поскольку, как говорят, у нее самой совершенно нет вкуса, – вставила Барбара, чуть уязвленная завистью.

– И в-четвертых, – продолжила мисс Эндрюз победоносно.

– В смысле, «в-четвертых»? – удивленно переспросила миссис Стивенз, очень приблизительно вслушиваясь в тираду секретарши, занятая облачением в кружевной капот в крупных кричащих фиалках. Она носила этот элемент одежды (возмутительно не сочетавшийся с целомудренностью ее бело-золотой гостины, отделанной Жан-Мишелем Франком) с удовольствием утоленной любви к себе. Уж во всяком случае в приватности собственной комнаты и перед лицом секретарши, единственного свидетеля ее тайны, она могла неудержимо предаваться естественным порывам своего чудовищного вкуса.

– В-четвертых – четвертое преимущество пятницы, – продолжила мисс Эндрюз, торопливо тарахтя – из опасения не успеть добраться до конца объяснения. – В пятницу Фернандесы ужинают у Соланж де Кледа, где мадам не сможет присутствовать из-за Виндзоров! Фернандесы наверняка не упустят возможности обсудить ваше недавнее расточительство, и поэтому все будет так, словно вы там присутствовали.

– Кто ответил на звонок у Картье? Маленький темненький парень с испанским акцентом?

– Думаю, да. Очень приятный. Дважды повторил: «Передайте мадам, я полностью в ее распоряжении».

– Полностью в ее распоряжении. Да, точно, это маленький темненький парень. Вы позвонили месье Полю Валери о моем обеде двадцатого?

И вновь мисс Эндрюз ринулась исчерпывающе описывать дипломатические преимущества ее манеры телефонировать, а Барбара Стивенс тем временем, подперев голову обеими руками, склонялась с вниманием над своей записной книжкой, закрыв глаза, воображая с живописной точностью, достойной лучших художников сцены, каждую реакцию и сокращение лицевых мышц, кои вызовет в кругу ее знакомых ее очередное появление в Париже, заранее подготовленное мистифицирующим рвением ее секретарши. Затем она осмыслила свою *rôle* применительно к каждому обстоятельству – и, оттачивая, не удовлетворенная, заставляла себя вновь и вновь, в сотый раз, проделывать одни и те же движения, складывать лицо в одну и ту же гримасу, интонировать голосом, входить, выходить, входить заново – изобретательно и неумоимо, все ради совершенства. Как утомительно! Но лишь после этого осмелилась удовлетвориться собой, став в свой черед собственным единственным зрителем.

Она видела, как входит к Картье – и это киноварно-раскаленный апогей сплетен о версальском ужине, как приезжает к Фернандесам – то молоток аукциониста высоких финансов, и к своему обувщику, будто она всего лишь герцогиня Кентская. Любопытно: хоть Барбара и не воспринимала подобные жесты всерьез, тем не менее, было несомненно, что таким манером она вызывала самое пылкое подобоострастие торговцев, самые молниеносные свистки на вызов ее машины, глубочайшие поклоны от привратников и людей общества, а все это вместе усиливало ее неуверенность в себе, и она то и дело размышляла: «Может, я не совсем уж блеф?»

– Довольно, дорогая, – взмолилась Барбара, обрывая неумоимую болтовню секретарши, – скажите мне, что судьба уготовила нам на сегодня?

Увы, она знала! И, судя по ее тону обреченности, лишь готовилась к естественности встречной реакции.

– Ничего, – ответила мисс Эндрюз чуть смущенно, – если не считать примерок и парикмахера в шесть тридцать.

– Наконец-то, – вздохнула Барбара, – день счастья!

Мисс Эндрюз уже встала пятки вместе, по-военному навывтяжку, ожидая команды «разойдись»; ее чуть лоснящееся лилипутское лицо имело тот же розовый оттенок и в точности ту же форму мизинца ноги с громадным зеленоватым зубом – то есть зеленоватым ногтем – строго посередине.

– Можете идти, спасибо. До завтра.

В этот миг в комнату вошла Вероника, приблизилась к матери и поцеловала ее в уголок рта. Уклонившись от поцелуя, Барбара вновь вздохнула:

– Наконец-то мы сможем приятно провести день, вдвоем, но в любом случае мне придется сходить к этому проклятому парикмахеру – вместо того, чтобы сесть и разобрать корреспонденцию.

Она, по правде сказать, терпеть не могла слишком ледяную манеру своего парикмахера обращаться со всеми одинаково и с радостью избежала бы встречи с этим бунтарем... «несомненно, коммунистом», как ей думалось. Но пугающая пустота конца дня безнадежно приковывала ее к этой встрече: после парикмахера – ничего! Она исподтишка и неприязненно покосилась на телефонный аппарат, дрогнувший и звякнувший всего раз, без продолжения, и от этого мертвенная тишина утра болезненно стукнула в уже пустое сердце Барбары. Она почувствовала, что ей стало дурно, и с отвращением отвернулась от того места, где устроился аппарат, ссутулившись, словно спящий белый омар, бестолково пойманный на вилку, неспособный прийти ей на помощь.

– Как отдохновенно, – сказала Барбара, – утро без телефонных звонков.

– Кто же станет звонить? Все отбыли за город, – отозвалась Вероника.

– Почему? Разве праздники? – спросила мать еле слышно.

– Наполовину. Кое-какие лавки открыты, но люди уехали. Кстати, сейчас идет новый фильм с Фредом Астером, – вбросила предложение Вероника, чтобы поддразнить мать.

– Ни за что! Ни за что на свете! – Барбара вспыхнула раздражением и поспешно отобрала свою пилочку для ногтей, только сейчас заметив ее в руках у дочери.

– Ни за что! – ответила дочь, подражая матери. – Ты же знаешь, что из-за маникюра нельзя прикасаться к своим рукам.

Барбара обиженно уступила и опять улеглась на диван.

– Я могу вытерпеть, когда мне на нервы действует маникюр, я могу вытерпеть, когда мне на нервы действует мисс Эндрюз, я могу вытерпеть, когда мне на нервы действует моя дочь Вероника, но не Фред Астер – хватит с меня чечетки. Я стерплю кого угодно, кто действует мне на нервы, но только не ногами!

Лицо Барбары вдруг пошло едва заметными нервными подергиваниями. Будто видно было, как маленькие серые паучки неудовольствия побежали во все стороны по перламутру ее тщательно ухоженного эпидермиса. Вероника присела рядом: неподвижная, с замершим взглядом, она чувствовала, как уже увлажняются глаза матери, и ожидала, что та сейчас расплечется. Барбара Стивенз имела склонность к сиюминутной эмоциональности, коя придает блеска некоторым лицам, в которых роса громадных податливых слез обогащает и утончает оттенки чувств, и в то же время смывает с них малейшие следы пыли. Барбаре было сорок три, ее маленькому точеному носу – шестнадцать, а голубоватым ямочкам у рта – едва ли двенадцать.

Была ли Барбара действительно красива? Она производила в точности противоположное впечатление. Казалось, она была красива совсем еще недавно. Совершенно верно. Уродлива ребенком, на выданье сносна, красива вчера, умопомрачительна сегодня, Барбара Стивенз была из тех редких созданий, способных по природе своей сути к любым преобразованиям и омоложениям, столь многословно обещанным салонами красоты. Врожденная способность к подражанию позволяла ее лицу с обманчивой точностью воспроизводить самые противоположные выражения чьего угодно лица – мужчины, женщины и даже зверя. Погруженная в мифологию модных лавок, она расходовала все свои маскировочные умения, произвольно заражая себя достоинствами и манерами божеств-на-час, которым удавалось наиболее властно поразить ее: так Барбара Стивенз в безумной гонке обезличивания тратила сокровища своих сил на сходство со всеми миловидными женщинами ее времени, оставляя ровно столько себя, сколько необходимо для выживания. Все естественное в ней было довольно ограничено – ноги коротковаты, лоб узковат, пышность не щедра, а волосы – лишь сносно светлы. Какой контраст мог поражать сильнее, чем тот, что возникал при сравнении с рекоподобным золотым изобилием ее дочери!

Вероника была блондинкой – не только благодаря золотым волосам, каскадами ниспадавшим по плечам, но и особому свету, который излучало все ее тело. Когда они с матерью находились рядом, казалось, она одалживает родительнице немного своей златовласости, а когда Вероника оставалась одна, даже мебель делалась светлее. В отличие от Барбары у ее дочери был высокий безмятежный лоб, округлый, чуть выпуклый, и длинные, скульптурно вылепленные ноги, коих никто никогда не видел, поскольку в ее присутствии все смотрели только ей в глаза, а глаза Вероники привлекали всеобщее внимание, потому что в ее взгляде никто ничего не усматривал: чуждые слезам и насупленности, глаза эти оставались неподвижны и сухи, как две бескрайние пустыни, и были они настолько светло-голубыми, что цвет сливался с белком, и лишь в самых глубинах и на горизонте их прозрачного пейзажа светилось немного луны и золотой пыли. Изъян Барбары, ее короткие ноги, несомненно – бесцеремонный способ приблизить ее к земле и одновременно сделать более человеческой. Веронике, с другой стороны, и не требовались длинные ноги богини, чтобы возносить ее сердце на иную высоту. Она была из тех, кто топчет человеческие чувства легкой посту-

пью антилопы. Барбара, как и большинство слабых созданий, была добра, умела прощать, жалеть, а жестока бывала лишь бессознательно. Хотя и не жестокая, Вероника же не была ни хорошей, ни плохой – как боги древнего Олимпа и как воинственные существа, принадлежавшие к элите, она была безжалостна, мстительна и подвержена неудержимым страстям. Она была богомолем, из биологической потребности в абсолюте пожиравшим предмет своей любви.

Барбара Стивенз почувствовала на себе вопрошающий взгляд дочери. Но она ощущала привязанность к этому взгляду, ибо его осязаемая прозрачность подобна была хрустальному пресс-папье, придавливающему легкость ее чувств, записанных на трепещущей папиросной бумаге ее беспечности. Но главное, она ощущала привязанность к нему оттого, что он мог ей потребоваться в любой момент, разразись вдруг кризис. Барбара не ожидала от Вероникиного пристального взгляда никакого утешения, но тем не менее любила ощущать, как наблюдают за ее плачем, потому что лишь так могла себя пожалеть. В ожидании этой сцены Барбара взялась за свою записную книжку, которую поместила к себе на колени, оперлась локтями о подлокотник дивана, лоб уложила на руки, распахнула глаза и сосредоточилась, ничего не видя на случайно открытой странице. Выбираясь из потемок сознания, она вдруг заметила появление маленькой шляпки, шляпки настолько металлически синей, что она казалась красной. На самом же деле красной она казалась только потому, что *была* красной и не была синей, поскольку синей была только вуаль, покрывавшая ее. Эта шляпа вспыхнула у нее в мозгу всего на миг, словно электрическая искра, что меняется с синей на красную с такой скоростью, что, стоит ей исчезнуть, уже невозможно вспомнить, какого же цвета она была изначально. Тем не менее молниеносного ослепительного виденья этой шляпы хватило, чтобы озарить лицо человека, на котором эта шляпа сидела, и Барбара, признав этого человека, вскрикнула испуганно и произнесла имя: «Миссис Рейнолдз!»

– Я совершенно забыла, что у меня сегодня вечером ужин у Рейнолдзов, – сказала она и уронила руки на диван с театральной самозабвенностью, коей словно просила Веронику о сочувствии, и та одарила ее улыбкой, быть может, чуть более нежной и менее ехидной. – Не могу я просто взять и не пойти на ужин к Рейнолдзам, – продолжила Барбара. – Меня уже обвиняют в презрении к соотечественникам. А они мне нравятся, просто они такие наивные! Мне просто неприятна возможность врать без оглядки. Помни, дочь моя: чтобы не увлечься враньем, необходимо врать другим так же хорошо, как и себе.

Перспектива налаживающегося вечера вернула ей остроумие, доброту и красоту и восстановила в ее душе безмятежный покой, пробудивший в ней долгий приятственный зевок, стиснутый между зубами. Этот сдавленный зевок вызвал неприметный трепет у нее на губах и был знаком того, что она собирается после долгой праздности принять решение.

– Ай, *Dio!*⁸ – воскликнула она, вставая.

Барбара побродила по комнате, насладились ее тишиной, от которой совсем недавно у нее сдавали нервы, и даже приготовилась спуститься к большому кубистскому полотну с изображением Арлекина кисти Пикассо, которое она вынуждена была купить премного вопреки своей воле.

– Знаешь, – сказала она, – что мне напоминает мой ужин? Никогда не угадаешь – картину Пикассо! В точности тот же цвет, что и шляпа миссис Рейнолдз, та, которая была на ней, когда она пригласила меня, и мы столкнулись в фойе, – тот же синий и тот же пламенно-красный...

С этими словами Барбара наполовину вытянула, но тут же засунула обратно в конверт несколько своих фотографий, на которые у нее еще не было времени взглянуть внимательно, и, отправившись в ванную, пока оставила их на туалетной полке. Затем вернулась в комнату,

⁸ Боже (*ит.*).

что-то ища, помедлила между немецкой книгой об украшениях Возрождения и «Нью-Йорк таймс» от прошлого воскресенья. Наконец выбрала последний, взяла его под мышку и вновь лениво и обреченно повлеклась к ванной, волоча ноги. Там она заперлась на добрые три четверти часа.

После обеда Барбара Стивенс нашла время, помимо прочего, выбрать между тремя коктейльными встречами, а из них согласилась на четыре, ибо пригласила двух венецианских друзей, с которыми познакомилась по случаю, в бар «Рица» на четверть часа, заместив таким образом визит к парикмахеру, от которого отказалась. С этого момента и далее можно было бы сказать, что ее время выстроилось с точностью военного маневра: двадцать четыре минуты на дорогу до Нёйи, десять минут на коктейль; затем назад, в «Риц», восемь минут на переодевание и потом еще два раута, каждый продолжительностью в пять минут, – завершающие коктейли; и наконец – к Рейнольдсам, где она оказалась с опозданием в двадцать три минуты.

В шесть Вероника вернулась в «Риц» одна и по особой неподвижности беспорядка в гостиной поняла, что мать отбыла очень давно. Она тут же растянулась на том же диване, где ее мать возлежала почти все утро; она собиралась поужинать прямо здесь позже, а после сразу отправиться в кровать. Она бы с удовольствием разделась немедленно и влезла в глянцеви́тый пикейный капот, ее последнее приобретение, такой свежий, гладкий и крахмаль-ный, что Вероника в ответ на материн упрек в первый день носки сказала, что впервые в жизни осознала, каково это – быть совершенно обнаженной. Барбара вообще-то всегда возражала, когда ловила Веронику без одежды у нее в комнате, но стоило дочери открыть для себя этот капот, как ее нудизм превратился в наслаждение прямого соприкосновения упругой плоти с довольно жесткой, скользкой и безупречно белой тканью. Она к тому же заказывала обрабатывать себе простыни изрядным количеством крахмала – если стукнуть по ним пальцем, они отзвучивали, как картон. Весь день напролет Вероника стойчески дожидалась этого упоительного мига, когда, измученная усталостью от прогулок по магазинам, наконец могла скользнуть в накрахмаленное одеянье и съесть яблоко.

Но сегодня что-то мешало ей переодеться немедля – некое предчувствие из тех, что были ей так свойственны. Ее навестило странное, настойчивое и очень отчетливое ощущение, что кто-то придет и заберет ее гулять в самый последний момент. Вероника свела брови в типичном для нее упрямом ехидстве, не бывшем гримасой ни мигрени, ни меланхолии, а скорее уплотнением ее сосредоточенного постоянного вопрошания, что же с ней далее произойдет. Тем не менее – и вопреки глубокой задумчивости ума – она сняла туфли и одной рукой взялась за бледное яблоко, такое же глянцеви́тое, как ее лоб. Держа в другой руке нож, она с упорством взялась расширять пальцем ноги дырку в чулке, покуда та не разъехалась достаточно, чтобы палец выбрался наружу. Она словно только этого и ждала как сигнала к тому, чтобы начать очистку яблоко – или даже саму жизнь. И по ее спокойному и решительному виду любой скромный крестьянин равнины Крё-де-Либрё смог бы провидеть, что первый же мужчина, коего Вероника встретит на своем пути, станет ее, и она выйдет за него замуж⁹. Ибо Вероника была из тех, кто, чистя яблоко, доводит эту операцию до завершения с уверенным постоянством и ошеломительным мастерством, что позволяет им, благодаря их уверенности, не допустить ни одного «разрыва» беспорядочными порезами сомнений на коже их собственной судьбы, невзирая на тонкость среза. Нет тому более мощного и подлинного образа на свете, ибо заново изученные, спасибо Фрейд, эти автоматические действия (язык подсознательного) всегда пророчески открывают тайны наших душ, и мы можем быть совершенно уверены, что девушка, чистя яблоко и доводя начатое до конца, ни

⁹ Согласно очень древнему крестьянскому поверью, «если девушка чистит яблоко и доведет дело до конца, не порвав ленты кожуры, она выйдет замуж за первого встреченного ею мужчину». – *Прим. автора.*

разу не порвав кожуру, выказывает такое постоянство характера и уравновешенность, что при встрече с мужчиной, чьи эмоциональные отношения к себе ей предстоит очистить от кожуры, она никогда не нарушит своей безмятежности и добьется счастливого результата. Девушка же, которая, напротив, рвет шкурку своего яблока на тысячу неравных частей, так же поведет себя и с возлюбленными: в непостоянстве своем она порвет и порежет все свои отношения и к концу жизни вместо слитной и мелодичной линии поведения увидит шкурку судьбы у своих ног – тысячей обрывков.

Нисколько не подозревая, какую магическую операцию проделывает, с безупречной уверенностью чистя фрукт, что более всех прочих отягощен символами¹⁰, Вероника, кто, вероятно, первой рассмеялась бы в ответ на подобную экзегезу, тем не менее ощущала ее всеми фибрами своего здорового организма. Она знала, что первая любовь, что родится в ее жизни, станет окончательной и оттого в наименьшей мере случайной, а непоправимость и обреченность грозит лишь случайной любви. Она не станет начинать с начала, не будет ничего исправлять: одна жизнь, одна линия полного совершенства. Но появление мужчины пока не грозило, и она даже примерно знала, когда это случится. Она встретит его этим летом, ближе к концу, быть может, в начале сентября.

Ожидая своей любви, Вероника пылко воображала дружбу с женщиной, дружбу, которую она также хотела длить, покуда жива, – с прекрасным созданием, кое будет чувствовать так же, как она, привлеченная ее телом, будет защищать ее двойной кирасой духа и плоти в ожидании великого испытания. Она желала подругу, с которой сможет разделить томительную весну своей страсти, свирепость летних объятий и элегию осенних нежностей. Желаемая подруга должна быть столь же хрупкой, как ее мать, и в то же время, в отличие от той, должна иметь большой рот, великую приверженность, никакого легкомыслия и руки, привыкшие к удовольствиям и умелые в них, способные научить руки Вероники, пусть и уверенные, но, быть может, дрожащие в высший момент изничтожающего сексуального слияния. Ибо она готовилась стать жертвой, подобно существам из легенд древних кровавых религий ацтеков: Вероника, сидящая в плодородной тени великого дерева крови своей, ждала, и ее парализующая неподвижность стала, как та, что предшествует агрессии. Она готовилась к великому испытанию начала жизни, она вооружалась опасной силой, ибо знала про себя, что достаточно и малейшего отступления ее партнера при воплощении ритуала – вырывания у нее сердца, – и она будет способна скрепить их абсолютное объятие в его апогее силой своих челюстей, и так, смертью одного из них, заключить пакт подчинения грандиозным правилам и законам природы ее любви.

Вероника, следовательно, желала иметь не просто подругу эпического величия – эта женщина должна была являть собой сложное существо: одновременно и мать, готовую с торжеством свидетельствовать Вероникиной страсти, и девственным цветком ритуала ее жертвоприношения, и похотливой рабыней, раскрывающей таинства инициации, и посланницей небес, жрицей ее веры.

До сего момента в жизни Вероники всякий раз, когда она яростно чего-то желала, судьба в обличье объективной случайности регулярно приходила на помощь, в урочный час поднося ей в точности предмет ее желаний. Вот и сегодня, этим вечером, сейчас, эта самая случайность готовилась явить себя исполнением желания Вероники.

В дверь позвонили. Вероника не вздрогнула и, не дожидаясь, пока мисс Эндрюз объявит посетителя, потребовала:

– Пусть она войдет!

И, конечно, то была Бетка!

¹⁰ Яблоко греха в земном рае: Адам и Ева. Яблоко красоты в суде Париса. Яблоко жертвенности: Вильгельм Телль и его сын. Яблоко физики: Ньютон и закон тяготения. – *Прим. автора.*

У Бетки был крупный рот, одета в плащ. С улицы несло удушающим жаром, набрякшая атмосфера грозы, что уже три дня никак не могла принять решение разразиться над Парижем, зарядила ее тяжелые рыжие волосы электрическими искрами.

– Что вам угодно? – спросила Вероника, вновь неторопливо надевая туфли.

– Я хотела бы поговорить с миссис Барбарой Стивенз. Позвольте представиться. Я – та юная дама, кто две недели назад рассылала приглашения на светский дебют Вероники Стивенз. Вы Вероника, да?

Вероника кивнула.

– Ваша мать выразила удовлетворенность моей работой, равно как и намерение привлечь мои услуги и далее, вскоре... Я действительно все сделала неплохо – вписала все адреса в последнюю минуту и за одну ночь, от руки, поскольку каждый нужно было сверить с мисс Эндрюз... Надеюсь, что еще смогу пригодиться...

Вероника долго собиралась с ответом, дабы убедиться, что смущение Бетки негласно подразумевало просьбу. И вот, когда эта несомненная дружба уже подталкивала интуицию, Вероника предвосхитила себя догадкой:

– Да, моя мать говорила, что собирается вновь вас нанять – и даже, быть может, более постоянно. Меж тем я с удовольствием предоставляю вам аванс за будущие труды... О нет! Это же так естественно, у меня самой постоянно кончаются карманные деньги! – А поскольку Бетка, похоже, сопротивлялась, Вероника добавила: – Я настаиваю, для меня это очень важно – я ужас как хочу вас осчастливить!

Бетка изумилась столь яростной и простой искренности в голосе Вероники.

– Нет, – сказала Бетка, – я не хочу аванса. Я смогу вернуть эти деньги в точности через два дня. Мне нужно ровно столько, сколько требуется, чтобы отбить телеграмму родителям в Польшу.

Вероника тут же вручила ей пачку телеграфных бланков, и Бетка жадно вцепилась в них, а сама так стремительно потащила с себя плащ, что порвала его. Она откинула лезшие в глаза волосы и дрожащими руками заткнула блузку за пояс – та все время выпрастывалась и обнажала маленький ромб голого живота, который она безуспешно пыталась прикрыть. Вероника остолбенело глядела на этот вихрь неорганизованной, общительной и неотразимой жизни, что, казалось, пребывала в муках постоянного истязания – безумия плоти, – и, продолжая смотреть, она сжала губами золотой сигаретный мундштук, все сильнее прикусывая его зубами, пока не почувствовала отметины от них.

Ощувив, что Вероника пристально смотрит на нее, Бетка укротила беспорядок своего возбуждения, и стало понятно, что поддерживать относительный покой для нее – усилие. Она по-деловому уселась перед столом и с обеспокоенным видом принялась заполнять бланки, кои она тут же неудовлетворенно комкала, всякий раз вскидывая исполненные покаяния глаза и встречаясь с бесстрастным взглядом другой женщины. Вероникино сумрачное и невозмутимое лицо улыбалось редко, но когда это случалось (не чаще трех раз в неделю), ее улыбка меланхолического ангела озарялась небесными бликами, на несколько секунд преображавшими ее до такой степени, что все, кто видел ее в эти мгновенья, ожидали повторения, дабы убедиться, что не стали жертвами наваждения. В тот вечер, стоило Бетке войти в комнату, Вероника улыбнулась ей таким манером целых четыре раза, и можно было бы сказать, что в промежутках Бетка жила исключительно ради того, чтобы дожидаться нового появления этого света губ, издавна вроде бы согревавшего ей веки, – такое случается, наверное, когда приближаешься к вратам Рая.

– Прочтите, – сказала Бетка, вручая телеграмму Веронике, а та лишь взглянула на нее, сложила и опустила на стол. Тогда Бетка сама взяла ее и прочитала вслух: «НЕ ПОЛУЧАЛА ДЕНЕГ ТРИ МЕСЯЦА ЖИЗНЬ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛА ПОЖАЛУЙСТА СКАЖИТЕ

ПРАВДУ О ЖЕНИТЬБЕ АДЖАЛЕ НА МОЕЙ СЕСТРЕ ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ ВАША ДОЧЬ БЕТКА», – далее следовал адрес: «Набережная Ювелиров, 17».

– Аджале был моим женихом, – добавила Бетка, возвращая телеграмму на стол и порывисто хватаясь за пальто. – Спасибо, спасибо вам большое! – воскликнула она, и ее гладкое лицо сжало страданием. Она была так прекрасна, какой могла быть Долороза Бернини, если б натурщица его была как Бетка – юная с очень юными грудями. Ей было восемнадцать.

Вероника приблизилась и поцеловала ее.

– Подождите меня секунду, вместе поужинаем!

Гроза сорвалась с цепи, сопровождаемая несколькими крупными драже града, в тот самый миг, когда их такси остановилось перед рестораном «*Tour d'Argent*»¹¹. Они лишь пересекли тротуар, но этого хватило, чтобы вымокнуть до костей и почувствовать тот внезапный и восхитительный холод ненасытного летнего ливня, что заставил их дрожать, пока они забирались на вершину башни. Там они устроились за столом, который Вероника осознанно выбрала именно потому, что для интимности он был чуть великоват, но, с другой стороны, размещался прямо напротив дровяного очага, который спешно растопили в тот миг, когда раздалась первые хлопки грома. В начале ужина они говорили мало, как новый помощник и его капитан, делящие первую трапезу вечером, когда корабль поднял якорь перед долгим рейсом. Бетка и Вероника молча высматривали в глубине глаз друг друга тающий след смешливой пены иллюзии, коя, хоть и пробыли они вместе недолго, уже закипела за рулем, обросшим черноватыми ракушками и темными водорослями.

Бетке, все еще не осмыслившей факт их отбытия в совместный вояж, эта встреча казалась миражом мгновенья, и она жила каждую секунду как чудо и в каждом взгляде отдавала всё: чувство, удовольствие и даже раскаяние.

Вероника, напротив, «тихая и сосредоточенная, как слепая статуя»¹², хранила сдержанность кажущегося ледяного безразличия – далекая от скупости или сухости сердца, она была лишь необходимостью деления последнего на маленькие равные дольки, соответствовавшие каждой секунде, которые будет длиться постоянная и непрерывная страсть всей ее жизни. Она никогда не будет любить сильнее, чем в этот миг, а просто проживет весь долгий цикл. Бетка же, с другой стороны... бедный мотылек! Каждый стальной взгляд Вероники она встречала смехом, а ее чистые зубы свирепо вгрызались в стебли сельдерея, крошившегося у нее во рту весенними сосульками.

– Мне нравится ваш большой рот, – сказала Вероника, тем приостанавливая Беткино детское, почти безумное обжорство.

– Слишком большой! – взмолилась Бетка.

– Да, чуточку слишком, – продолжила Вероника сдержанно, наблюдая за результатом своего согласия.

– Я знаю. Ужас! – воскликнула Бетка, обескураженно вздыхая, чуть не плача.

– Мой ангел! – подбодрила ее Вероника. – Разве вы не знаете, как божественно красивы?

– Да, думаю, да! – ответила Бетка с легким оттенком сожаления. – Уродиной я себя не считаю, и мне, вероятно, даже понравилось бы смотреть на кого-нибудь вроде меня... Мне не нравится мой рот, и я терпеть не могу цвет своих волос... А остальное мне нравится – особенно мое тело. Но я бы предпочла быть как вы.

– У меня все наоборот, – отозвалась Вероника, и взгляд ее вдруг стал отсутствующим. – Я себе не нравлюсь, но хотела бы найти кого-то в точности как я, чтобы его обожать.

¹¹ Серебряная башня (фр.).

¹² Федерико Гарсиа Лорка, об одном своем друге. – Прим. автора.

Бетка позволила себе опьяниться тем, что источала личность Вероники, нежели пытаться понять и выяснить странное и в некотором смысле судьбоносное значение Вероникиного строгого тона. Казалось, Бетка слушает губами, приоткрытыми в полужестах девственной невинности, чем она выдавала, очевидно, физическое свойство всех своих чувств. Это выражение лица, столь для нее привычное и почти постоянное, становилось под влиянием малейшей эмоции гримасой, и тогда уж трудно было различить, от удовольствия оно или от боли, столь постоянно и взаимопроникновенно было существование этих двух тиранов ее души во плоти одного человеческого тела. Тем не менее сильное удовольствие, проявленное в ней в виде более ожесточенного сокращения лицевых мышц, в порывах смеха распахивало ей рот до предела, обнажая щедрый и яркий блеск зубов. Отчаянные усилия держать рот закрытым придавали довольному выражению лица Бетки соблазнительное безумие и бесконечную трогательность.

Разлили шампанское. Вероника повозилась в кресле, будто собралась наброситься на подругу, но почувствовала, насколько та уверена и беззащитна, и поэтому все откладывала миг агрессии – со сладострастным восторгом. Наконец, она задала ей в лоб тот самый надолго отложенный вопрос, впервые «тыкая»:

– Скажи мне, *chérie*¹³, ты девственница?

Бетка не ответила и просто уставилась на нее, лицо свекольно-красно, скромно, однако гордо, и от этого еще более привлекательно.

– Ешь! – воскликнула Вероника со вздохом, перерезая нитку, что удерживала полоску бекона, увенчанную крупной мускатной виноградной лозой раздвинутых ножек глазированной перепелки. Вероника легко подцепила виноградную лозу вилкой и протянула Бетке в утешение. – На, ангел, лови! – Бетка потянулась к вилке и раздавила гладкую сладкую виноградную лозу зубами, при этом две горькие слезы стекли по ее щекам. Вероника прекрасно знала, что Бетка не девственница! Однако ее умиротворило, как быстро и просто оказалось довести ее до слез.

В награду Вероника собиралась немедленно начать с ней секретничать, а чуть погодя, за десертом, планировала осушить последние следы горечи, выпустив на волю зачарованную кавалькаду своего неистощимого воображения соблазнительницы, чтобы та неслась перед ослепленными взорами, как это удавалось Веронике, когда ей хотелось ублажить и поработить.

Решив прибегнуть к этим чарам, Вероника чуть отодвинула свой стул от Беткиного, желая произвести полнейшее впечатление каждым своим порывистым жестом, часто непостижимым и всегда потрясающим, как в заклинаниях. Отставив привычную неподвижность, она отдалась поразительному предъявлению двусмысленного притворства.

– Я девственница, – сказала она тихонько, тревожащим тоном намека, а потом добавила, еще тише: – Клянусь! Но я же не плачу, как видишь! – И она торжественно изобразила, как промокает глаза, – показать, что они сухие.

Бетка рассмеялась.

– А теперь, – продолжила Вероника, – смотри, вот доказательство того, что я говорю тебе правду, – и она медленно, очень медленно вознесла зажатую ладонь над головой. Затем угрожающе ее раскрыла и со значением потрясла безымянным пальцем, на котором был марлевый бинт, закрепленный полоской розового пластыря. – Видишь? Рана! – сказала она, моргая.

Бетка совершенно смутилась, но все равно покраснела и лишь подчеркнула свою слабость, мотая головой с чарующим раздражением – лишь бы размежеваться со своим смущением.

¹³ Дорогая (фр.).

нием. Тут Вероника в знак нежности придвинула свой стул поближе к Беткиному и, собравшись начать свои откровения, дала Бетке держаться за раненый палец.

– Держи, – сказала она, – но не нажимай, пока я тебя не смущу.

Бетка взялась за ее палец двумя руками и поднесла его к губам, чуть коснувшись его в поцелуе. Вероника с дьявольским оживлением начала свой сказ.

– Я, Вероника Стивенс, девственница – при этом замужняя и целомудренная. Я девственница, потому что вместо женитьбы с мужчиной я в браке с женщиной. Ты ее знаешь – это Барбара, моя мать. Мы спим в одной кровати всякий раз, когда ей хочется плакать. Это случается примерно дважды в неделю; мне приходится время от времени утешать ее в тяжком бремени ее легкомыслия; она прибегает ко мне в кровать и заставляет одеваться, иначе ей стыдно; я вынуждена пристраиваться к ней сзади, крепко обнимать, прижиматься щекой к ее загривку и греть его. Это ее усыпляет. Потом я немедленно сбрасываю пижаму, а если мать просыпается среди ночи, она кричит от испуга, будто это не мое тело, а какой-то демон. Веришь – моя мать никогда меня не целует? Ее забота обо мне – как о грелке, что по временам утишает ее бессонницу. Хотя к грелкам не притрагивается. Ей нужно, чтобы все всегда было прикрыто... На следующий после нашей занимательной любовной ночи день я всегда получаю подарок. Я позволяю маме дарить их мне так же, как мама позволяет мне любить ее – не замечая. Вот недавний из таких подарков, – и она показала Бетке ремень, в котором была, с пряжкой в виде золотого замка. – Обычно я их и не замечаяю, – продолжила Вероника. – Я назначила свидание с одним мужчиной, французом, у него в квартире. Он тут же заметил его и, пока наливал коктейль, сказал: «Я чувствую, судьба уготовила мне освободить вас от этого пояса верности». Я не ответила. Мне нравится репутация холодной неприступной женщины. По мне, любовь должна быть сурова, как военный пакт между двумя завоевателями, и никакое половодье чувств не должно предшествовать подписанию соглашения. Вероятно, как раз в духе подобного соглашения пришла я к нему в квартиру. На мне был костюм строгого кроя, вроде доспеха, а он принимал меня в тапочках. И вот по этим тапочкам я поняла, что он не «тот самый». Вместо соглашения он попросту попытался извлечь с моим участием удовольствие для себя, и так это у него вышло неловко, что он не смог даже расстегнуть на мне ремень – пряжка на нем новая и оттого тугая. Я предложила ему подождать минуту, я сама его сниму, – отступила на два шага и попыталась. В неловкости его суеты замок только заело, и мне пришлось так на него давить, что застежка порезала мне палец. Но ничто на свете уже не могло отвратить моих усилий, и я наконец почувствовала, как металл проникает до кости, как бритва «Жиллетт». И все-таки я довела эту операцию до конца с таким спокойствием и стоицизмом, что он и не заподозрил, как мне больно. Я видела, как стоит он предо мной, очень довольный собою, руки в карманах кашемирового халата, а сам дрожит от желания, как лист. И тогда я еще сильнее нажала на пряжку и прямо костью высвободила пружину. От этого звука он содрогнулся – да и от моего вида, и он даже не успел понять, что я собираюсь сделать, уже отшатнулся. И вот тут-то я взялась за ремень и хлестнула его желтые ступни с такой силой, что он с одного удара упал на колени – к моим коленям... Понимаешь? Кажется, мне нельзя позволять страстей...

Бетка, весь рассказ взиравшая на нее молитвенно, вновь поднесла увечный палец к губам и поцеловала его.

– Не хочу и думать о любви, – продолжила Вероника, подкладывая Бетке в кофе сахар. – Мне кажется, это в моем случае крайне важно. День, когда он явится, будет кошмарен, и если уж я возьмусь, то никогда не отпущу, до самого конца. Но взгляд мой не переменится. Понимаешь, Бетка? Для меня чувство любви – в одном взгляде, что стал бесчувствен благодаря такой великой уверенности, что раскаленное докрасна железо белеет! Понимаешь? Своего рода пылающий покой. А у тебя как, ангел? – спросила Вероника, вынуждая ее потеряться в глубинах своих глаз, чтоб вырвать всю возможную искренность.

– У меня, – ответила Бетка, сдаваясь с хрупкой улыбкой, просившей о жалости, – у меня это как постоянная зубная боль в сердце!.. не проходит.

Ну и дождь теперь шел снаружи!

Подали десерт, триумфально прибывший на убранной лентами серебряной колеснице, украшенный домиками с освещенными марципановыми окнами, восковыми розами и сахарными белочками.

Вероника, смеясь, воскликнула:

– Вот кое-что и для зубов, и от сердечной боли! – и тут же обратилась тираном. Бетка должна была попробовать всё – от сентиментального вкуса меланхолического шоколадного торта с венским воскресным убранством, озаренным лучами языческого солнца, до смиренных фигов, начиненных грецкими орехами, и печений, пьяных от рома, сквозь врасплох тающих магомётанских небес конфет с ликером и добираясь наконец до сладострастного и чуть тошнотворного удушья *petit-four*. И все это время, в точности как и продумала заранее, Вероника околдовывала подругу разнузданным галопом тысячи и одной ночи своих фантазий, какими она в конце концов сковала стосковавшийся по чудесам дух подруги. Все было словно в бредовой сказке с двумя феями – с ними.

Веронике пришла в голову мысль проецировать Бетке на зубы цветные кинокартины, все разные на каждый! Она собралась подарить ей платье, которое подсвечивается изнутри ртутными лучами, и от этого вся поверхность тела становится эрогенной. Она собиралась одолжить ей бальзам, при помощи которого можно было явиться к ужину с невидимой головой. Она покажет ей обсидиановые серьги, в которых заключены живые холерные микробы. Она знала, как вырезать любовный стих на безупречно белой поверхности нежного миндаля, прямо пока он формируется, а потом, если расколоть его и очистить от кожуры, проявится рукописная надпись! Знала, и как произвольно возбуждать сны с полетами и как наяву увидеть приближение мужчины в белой маске. Ошарашенная Бетка, стиснув зубы, пыталась не отставать от головокружительного полета образов и так же, как вблизи резких поворотов, зажимала глаза и, улыбаясь своему страху, открывала их вновь – сразу за этими опасными извивами.

Вероника, внезапно темнея лицом, сказала:

– Не надо было пить шампанского. У меня мигрень, и я болтаю как умалишенная!

Вероника высадила Бетку на набережной Ювелиров, быстро поцеловала и бросила:

– Я позвоню тебе завтра!

Бетка отправилась спать упоительно уставшая, в счастливом смятении, из которого всплыли единственный взгляд и единственная шевелюра – Вероники! Но проснувшись она поздно и в пугающем томлении – и тут же ее одолел абсурдный страх: она больше не увидит подруги. Бетка сказала себе: «Как же она позвонит мне? Я не дала ей адреса». Это занимало ее сколько-то и оправдывало, ей думалось, ее звонок, но тотчас она помрачнела, убежденная, что мисс Эндрюз располагала и ее адресом, и телефонным номером. Ну и день предстоит! Она ждала месяцами, она писала, заставляла себя ходить по конторам, звонила и перезванивала безрезультатно, впустую. Но вчера все вдруг пришло в движение: ей нужно было появиться у мадемуазель Шанель пробоваться моделью, в половине пятого – в Бюро пропаганды на радиопробах, а потом заскочить в редакцию «Стрелы», что-то там напечатать, и так далее, и тому подобное! Но она решила никуда не уходить, пока Вероника не позвонит, ибо это могло произойти, как раз когда она отлучится.

Ближе к четырем Бетка сказала себе: «Подожду еще пятнадцать минут. Если не позвонит, наберу ее сама».

Но и к семи вечера ни одна так и не позвонила другой, и Бетка, вытянувшись на кровати, осознала, что встреча с Вероникой произошла в самый острый и несчастный момент ее жизни. Не сказать, чтобы детство ее было счастливое, – скорее наоборот. Но сейчас, каза-

лось, постоянные дожди горечи ее детства пропитали стены ее настоящей тюрьмы виноватости; как дорого, каким адом тоски и раскаяния должна она платить за каждую толику удовольствий, какие ее тело ухитрялось вырвать у ежедневности, мучимой заботами! Как юница, влюбленная в любовь, она боялась удовольствий, и вот теперь удовольствие подстрекало ее новыми, скорбными страхами обманутых надежд и разочарования. Не хватало ей смелости «начать заново» с одним и тем же человеком – столь чудовищными в ее памяти становились эти переживания. Единственная радость без стыда, какую она видела во всей своей жизни, как она сейчас понимала, состояла в этой встрече с Вероникой, а кроме нее, с тех пор, как научилась она пользоваться разумом, ей доставались лишь тревоги тела и пугающее стремление покончить со всем. Она помнила, как ощущала неотвратимую тягу к самоубийству. Ей тогда было восемь лет, и свое мученичество она переживала в маленькой деревне на русской границе. Все видения того времени имели желчный привкус наказания, и удовлетворительных поводов убедиться, что жизнь, какую ей приходилось терпеть с братьями, совсем не была счастливой, более чем хватало! Их мать безжалостно измывалась над ними – и словом, и делом: однажды она привязала старшего брата Бетки к решетке кровати и пригрозила выжечь ему глаза раскаленной плойкой. Но при этом их мать была умной и очень красивой женщиной с огненно-рыжими волосами. Она имела утонченные манеры, и всем, кому неведомы были ее домашние буйства, она, вероятно, представлялась созданием, полным достоинств. Наблюдая ее среди друзей, мягкие изгибы ее бюста, вздымающегося над глубоким вырезом платья, ее веки, всегда полуопущенные, выдающие кротость, никто на свете не заподозрил бы в ней бесчеловечную жестокость, ее постоянство, настойчивость и кропотливость, с какими она заставляла своих детей страдать. Она была коварна, имела железную волю и фанатически блюла чистоту, коя не отбивала у нее странный запах словно бы горелого кофе. Ее странный инстинкт позволял ей отыскивать уязвимейшие точки маленьких душ ее детей, и наловчилась она вонзать в них иглы своего произвола, пришивая детей к четырем стенам своей спальни, обклеенным обоями с кукурузой и маками, где она запирала их и применяла к ним свою деспотическую власть. Никогда им не позволялось поиграть на улице! О репьи у дороги, вечерняя звезда!

Иногда Бетку охватывала яростная ненависть к матери, и, что поразительно, от этого она принималась плакать и упиваться бесконечной нежностью к ней, ибо ничто не повергало ее в такую безутешность, как видеть мать жертвой своей химерической мести. Вопреки тому, что мать заставляла ее невероятно страдать, Бетка восхищалась тем, какой всесильной полновластностью та наделена. Да, ее мать превосходила всех других матерей, и в глубине своего несчастья Бетка преклонялась перед ней, как перед божеством. Она видела вокруг других детей, беспечных, прожорливых, безрассудных, потерянных в сладостном мирном бессознательном их жизней, но она им не завидовала – и не поменялась бы местами с ними! Ее молодость не позволяла ей понять материну несправедливость. Мать всегда оказывалась права, а они, дети, были чудовищами. Бетка признала это сама, ибо никакие заповеди не могли удержать ее от греховодства. Репьи у дороги, вечерняя звезда! И любой ее мельчайший позыв к удовольствию уже рождался чахлым, больным и угнетенным более сильным позывом – моления о прощении. Если мать наказывала ее, то, конечно, ради умирения ее дурных инстинктов, ее врожденной извращенности – она и по сей день была в этом уверена! И даже в глубинах своих мук не ласкала ли себя, не использовала ли агонию чувств, чтобы вновь вцепиться в удовольствие?

Бетка снова запахнула капот и жестко сдержала себя. Она принадлежала царству животных. Лучше бы ей умереть. Вероника! Ангел! Не отвратись от меня!

В десять Бетка получила телеграмму из Польши, подписанную матерью, содержавшую одно-единственное слово по-русски: «Сука!»

Наутро, в четверть одиннадцатого Бетка позвонила Веронике – та сидела нагая перед столом в гостиной и пыталась избавиться от раскаяния за то, что до сих пор не позвонила подруге, одновременно стараясь придумать наиболее тактичный способ ей помочь. Четырежды она аккуратно свернула и развернула пятисотфранковую купюру, которую вкладывала в маленький конверт – и сразу же извлекала наружу. При ней была и квитанция на телеграмму Бетки, отправленную в Польшу позавчера. Положить в тот же конверт или просто сохранить? Конверт придется отдать лично. Иначе Бетка может обидеться. «Надо немедленно ей позвонить!» И в тот самый миг, когда она потянулась к телефонному аппарату, он зазвонил.

Вероника встала, сняла трубку. Оперлась ледяным коленом на теплый атлас стула, на котором только что сидела, но, поняв, что ей холодно, уселась на место. Подобрав под себя ноги, она свернулась, превратив свою стройную высокую фигуру, как по волшебству эластичности тела, в идеальный шар, составленный из переплетенной путаницы коленей, плеч, золотых волос, серебряных медальонов и жемчугов. Из этого шара возникла рука, и ею Вероника решительно отложила квитанцию в ящик с конвертами, а пятьсот франков оставила в ладони.

– Здравствуй! Мой ангел, это ты?.. О да, у меня все хорошо. Когда мы увидимся?.. Нет, сегодня не могу, давай завтра?

Барбара, только что завершившая звонки из своей комнаты, как раз в тот миг пришла в гостиную и принялась с расстояния изображать Веронике непонятные слова, а та смотрела на мать и не видела ее, не пыталась разобрать, что она там говорит. Тогда Барбара крикнула:

– Скажи Соланж, что мы будем на ее завтрашнем коктейльном рауте!

Вероника ответила яростно нетерпеливым мотанием головы, но внезапно решила воспользоваться этой информацией.

– Алло, *chérie*, алло! Завтра подойдет? У Соланж де Кледа?.. Нет-нет, это не имеет значения, *mon chou*¹⁴, я ей уже рассказала о тебе, она хочет с тобой познакомиться. Она тебе понравится... Ну конечно, это правда! Да, подожди, я тебе дам... слушай! Улица Вавилон, номер...

– Номер 107, – сказала Барбара ворчливо, бросив капот дочери к ее стулу.

– 107, – повторила Вероника, – Запомнишь?.. 107... Мадам Соланж де Кледа... Улица Вавилон... 107... Да, *chérie*... как пожелаешь... семь или полседьмого... а потом я тебя отвезу поужинать. Ты получила ответ на свою телеграмму?.. Нет еще... Слушай, мой ангел, тебе не помешают наличные!.. Не глупи, хорошо?.. Не начинай... Конечно, *chérie*, я тебя слушаю, говори... Да, *chérie*... Да, *chérie*...

За это время Вероника свободной рукой сложила банкноту втрое, сунула в маленький конверт, сложила его вдвое и, прижав запястьем и придерживая, намотала на него новенькую салатовую резинку. Длинные, бледные пальцы Вероники, голубоватые в суставах, проделали все эти сложные операции с непреклонной, даже пугающей и почти нечеловеческой покойной точностью металлических фаланг, что ловят, переворачивают и механически меняют записи в автоматических фонографах.

– Послушай меня, не беспокойся на этот счет. Я положила ее в визиточный конверт, отдам тебе завтра. Не потеряй – он крошечный!.. Не говори так... Не глупи, ну... Я тебе уже объяснила... Ну да, *chérie*... В том же, в чем ты была в тот вечер, только надень черные туфли – и никакого плаща, даже если будет дождь! Нет, *chérie*, шляпу не надо... Да, в половине седьмого, *chérie*, а потом мы погуляем. Целую тебя, *chérie*!

– Мой ангел, *mon chou*! Да, *chérie*! Нет, *chérie*! Крошечные, крошечные, в крохотульном конверте. Я так и вижу! – воскликнула Барбара, передразнивая дочь, и нежно, и ожив-

¹⁴ Зд.: моя миленькая (фр.).

ленно. – Привалило очередной бедной, хорошенькой бездельнице! – Затем она переспросила энергичнее: – Кто она?

– Твоя новая секретарша, которую я только что изобрела, но я ее тебе никогда не покажу. Это не твое дело, – ответила Вероника отрывисто. И продолжила медоточиво, будто ища прощения в неодобрительном взгляде матери, приклеенном к ее наготы: – Спасибо, мама, что спасла меня капотом, но ты прекрасно знаешь, что я люблю только тот, который мы отправили крахмалить, – этот слишком тонкий, он как шелковый носовой платок. – С этими словами она подцепила капот пальцами ноги, кои были почти столь же проворны, как и пальцы ее рук. Она принялась капризно раскачивать капот вытянутой ногой, а затем внезапно – вших! – подбросила его резким движением к потолку и поймала двумя воздетыми руками. Принялась наматывать его себе на голову на манер тюрбана, а сама намеренно и небрежно развела ноги с видом откровенным и словно самозабвенным. – Скажи, мама, ты съездила посмотреть на ту обтекаемую машину, которую мне обещала?

– Да, но она мне совсем не нравится, – непреклонно ответила Барбара.

– Отчего же, мама?

– Потому что она как ты – слишком голая, на нее прямо смотреть неловко – слишком много изгибов, округлостей, фонарей, ягодиц, всего слишком много! Я, не моргнув глазом, сказала торговцу, который мне ее показывал: «Возьму, только если вы ее оденете!» Он, похоже, ошалел от удивления, но я ему объяснила: «Я вот что имею в виду, дорогой мой: она слишком голая. Придется вам одеть ее в чехол, скроенный, как шотландский костюм!»

Барбара приблизилась к дочери, словно не отдавая себе отчета в ее наготы, и продолжила восторженно:

– Тебе это не кажется забавным? Ателье для автомобилей! Очень строгие вечерние наряды, с низким вырезом, радиатор бюста виднеется среди органди, атласные шлейфы за капотом на премьерных вечерах! Таким манером можно автоматически удвоить модные коллекции – весна, лето, осень, зима. Крыши кабриолетов, отделанные горностаем, дверные ручки, отороченные котиком, муфты из бизона для радиаторов. Представь, какой эффект произведет наш «Кадиллак» в ледяных пейзажах близ Ленинграда?

Вероника чихнула – от этого рывка тюрбан распутался и упал на нее, скрыв голову и плечи. Вероника осталась неподвижна, словно комически ожидая спасения.

– Тебе очень идет! – воскликнула Барбара и добавила с нотой поддельного беспокойства: – Не двигайся, я принесу тебе капли для носа.

В своем частном доме на улице Вавилон Соланж де Кледа готовилась к коктейльному приему. С происшествия в комнате графа Грансая прошло около пяти недель, прежде чем они увиделись вновь. Последний, все еще упрямо приверженный своему уединению в поместье Ламотт, никаких признаков жизни, помимо посылки ей цветов, не подавал. Эти его цветы – и смерть, и смех! Однажды в четверг утром ее горничная Эжени открыла перед ее изумленными глазами большую квадратную глянцево-лиловую коробку от одного из лучших парижских цветочников. Внутри размещался безупречно крахмальный чепец монахини, служивший вазой и наполненный до краев слитной массой туго собранного жасмина, а в центре этой душистой ослепительной белизны – карточка графа Грансая, с одним лишь его именем.

С момента, когда она в припадке нежности отбросила все ухищрения гордости, что пять лет питали ее отчаянный флирт с графом Грансаем, Соланж чувствовала себя смятенной и растерянной. И все же цветы Эрве не пахли скукой жалости – они были душисты! А чепец монахини – она усмотрела в нем лишь одно символическое значение – говорил о чистоте, если, конечно, в нем не было ничего другого, кроме оригинального вкуса графа. Все последние четыре недели, невзирая на то, что растерянность Соланж лишь прибавлялась, ее беспокойство, с другой стороны, несколько утишилось – благодаря самому факту отказа от

борьбы, а ее муки теперь устоялись скорее в смутном постоянном терзании, в непрерывном страдании духа, кой она решила всеми человеческими и сверхчеловеческими силами удерживать от нарушения великолепной цельности ее красоты, путеводной звезды ее надежд. Она часто наблюдала в Грансае некий земной вкус, столь сильно тянувшийся к плоти. Всегда чуть грубую нужду проверять ее тело на прочность, прежде чем любовно заключать в объятия. Нет! Никакой призрак, даже самый потрясающий, не мог захватить его внимания.

Вечером того самого дня, когда Соланж получила жасмин, она не смогла устоять от будто случайного визита к цветочнику, от которого прибыл букет. Дожидаясь, пока соберут заказанные ею ландыши, она углядела подозрительный ящик: на крышке отчетливо значилось место его отправления – станция Либрё. Пока ждала, Соланж подобралась поближе к ящику, рукой в перчатке поправила две лилии, видневшиеся в большой корзине рядом, проредила букет васильков и наконец походя приподняла крышку загадочного ящика. У нее чуть не подогнулись колени: вот что там было – ряды монашеских чепцов, аккуратно сложенные стопками, не меньше пятидесяти! Так, значит, Грансай щедро снабдил цветочника оригинальной упаковкой. От внезапной мысли, что такого рода букеты были придуманы и предназначались другим, не только ей, мраморная пыль ее обиды заскрипела на озлобленных зубах ее ревности. Эти чепцы, что всего миг назад были чистыми и божественными, теперь показались ей подлинным кощунством. От всей белизны, вместилища подношения, от самых тонких чувств осталась лишь унижительная реальность грубой бытовой ткани, похожей на чистые салфетки – и столь же презренной, – какие горничная поспешно и бесшумно подает в последний момент в туалет – низменный лен несказуемых интимностей ее соперниц. Монашеские чепцы, аккуратно сложенные рядами, ожидающие использования в распутных бесчестьях, коими, понимала она, Грансай в конце концов вырвет ей сердце.

Однако назавтра Соланж получила в точности такой же букет, что и первый, то же и далее: вскоре она обрела подтверждение своей уверенности, что во всяком случае эта разновидность букетов предназначалась исключительно ей. С этого дня цветы стали ее дражайшим источником надежд, но в то же время подвергли ее жесточайшему из всех испытаний. Ибо что проку в брачном намеке, если вслед за этими прилежными подношениями не будет ничего, кроме сладости легкого благоуханья почтительности, и если к хрупкости их приторного аромата не примешается наконец горький и стойкий дух любви? Соланж в любом случае знала, что ее страсть ожидает долгий путь, и, готовясь стать рабыней метаний своего духа, она решила заботиться о своем теле как об отдельной вещи. Убежденная в ошибочности желания невозможного, опьянения себя или даже отвлечения душевного беспокойства событиями другой природы, нежели ее чувства, она не искала и не ждала от физического мира никакого «утешения», ибо сердце может исцелить только другое сердце.

Начав воображаемую раздельную жизнь, Соланж изготавилась осуществить исключительное чудо заботы о физической персоне своей анатомии как о независимом существе. Посему, слагая пред своей страстью лишь дух, она пока отдала неистощимые биологические ресурсы своего тела умелому ваянию массажисток, косметичек, хирургов, портных и балетмейстеров. Но прежде всего – и любой ценой – точно было одно: она должна высыпаться, и для этих целей у нее была проницательная и нещепетильная врачевательница доктор Ансельм, дававшая ей каждый вечер перед сном довольно чувствительную инъекцию люминала – лекарства, которое обеспечивало Соланж освежающий сон, а побочные эффекты могли проявиться лишь через несколько лет. Соланж обычно просыпалась без страданий, но минут через десять они принимались заполнять ее, подобно капиллярному феномену, что заставляет кофе взбираться по куску сахара, так же и муки одолевали ее, постепенно затемняя по капиллярам ее рассудка белизну ее пробуждающейся души сумрачными мыслями.

Отдав себя заботе специалистов – всю себя, кроме чувств, – Соланж понимала о себе все меньше и каждое утро беспокойно выпрашивала у доктора Ансельм:

– Хорошо ли я спала? – Она так грезилась о сне, что теперь, когда спала, уже не грезилась.

В тот вечер, когда Соланж услышала звонки первых гостей в садовую калитку, она задумалась: «*Mon Dieu!*¹⁵ Зачем я встречаюсь с этими людьми?» Но она хорошо понимала зачем. Люди рвались восхищаться ею, служить ей, помогать ей карабкаться, и она по-прежнему нуждалась в их низкопоклоннической лести, чтобы двигаться к верховной цели своего растущего общественного положения, кое позволит ей дотянуться до уровня Грансая. Она уже сдала свою гордость, признавшись Грансаю в природе своих чувств. Теперь она желала блюсти свои слабые позиции с благородством: на равных основаниях.

У Соланж де Кледа было много разговоров о грядущем бале графа Грансая, и уже несколько «мелких душ», с их острой и чисто парижской интуицией общественной макьявелльщины уверенных, что им суждено оказаться среди тех, кого не пригласят, начали готовить базу для общественной баталии. Они пытались навязать себя, запугивая террором зловредных слухов, или истерической банальностью раболепия, или сочетанием этих методов, и все это – не забывая меж тем готовить себе удобное пространство для отступления, чтобы в случае поражения последнее могло быть расценено всеми возможными способами, человеческими и божественными, кроме подлинного, а именно – намеренного, чистого, простого вычеркивания из списков.

Мадам Клодин Дрюэтт, с чашкой чая в одной руке, накладывала себе кексов, кои томно жевала один за другим с сокрушенным выражением на лице. В жемчужно-сером строгом костюме с корсажным букетиком ландышей, приколотым под меланхолическим углом, она изготовилась вступить в полемику.

– Бал Грансая – всегда успех, – сказала она, приподнимая белую вуаль мизинцем, единственным пальцем, который остался свободным и сухим, – это ясно как день! Графу все удастся, потому что он никогда не рискует. Эти его затеи – всегда шедевры, но рано или поздно недостаток порыва становится смертелен для тех, кто слишком долго прожил у себя в гостиной. – Она вздохнула легко, но четырехгранно – крошечными перламутровыми ноздрями, краешками заостренных ягодиц опираясь о колени Фарже, пухлого поэта, вынудившего ее расслабиться в своих руках. – Мне нравятся балы, возникающие за сутки, как грибы, – продолжила Клодин наивным и капризным тоном, – балы с новыми лицами, в платьях, что едва пошиты, и с поцелуями!

– Ну да, ну да! моя Клодинетт, моя Клодинетт, моя прекрасная ренклад, – загудел Фарж, – ваш старик Фарж – единственный, кто понимает, что у его чада на уме! Вы же помните Венецию, – продолжил он, обращаясь к Соланж де Кледа, коя только что улеглась у его ног и в обтягивающем платье, подчеркивавшем ребра, колеблемые дыханием, смотрелась, как патиново-серебристая гончая. – Так вот, в Венеции, – продолжил Фарж, – каждый раз, когда мы собирались на экскурсию в палладианскую виллу, начинался дождь – без исключения. К вечеру небо расчищалось, и кто-то показывал на тучу майских жуков, плясавших андреевским крестом перед кипарисом, а по возвращении в Венецию оказывалось, что возник бал.

Фарж имел репутацию человека очень умного, потому что был толст, говорил очень гнусаво, давился и прерывал речь из-за многочисленных дыхательных неурядиц и бед, и наконец потому, что и впрямь был очень умен. Теперь он качал Клодин на руках, и черные волосатые дыры у него в носу терлись о ландышевый букетик его протеже подобно двум жужжащим шмелям. Каждый слог, едва различимый и пробормоченный в ухо Клодин сквозь

¹⁵ Боже мой (*фр.*).

завесу разнообразной пылицы лесов его носовых волос и неухоженной бороды, пробирался к другим его слушателям спутанным, как непостижимый гул поэзии.

– Что он говорит? – спросил юный Ортис, пыша предвкушением. Он был блестящим и новеньким, словно только что из коробки; подтащил свой стул поближе к Фаржу. Клодин выкрикнула истерически:

– Это чудесно! Он говорит, что бал Грансая должен долго кипеть на медленном огне на задах кухонь всех парижских салонов. Он будет годен только подогретым!

– Обожаю подогретые блюда, – воскликнул Ортис.

– Какой снобизм! А глядя на ее платье, не скажешь, – пробормотал Фарж, раздраженно хмурясь.

– Подогретый или нет, – крикнула издали Сесиль Гудро, – хуже всего будет остаться в вечер бала дома, пытаясь убедить себя, что ваше подогретое блюдо лучше прочих!

– А как же «банко»? – воскликнул юный Ортис, хохоча, пока слезы не потекли, и пытаясь тем самым отменить едкость последних слов Сесиль Гудро. – Каждый из нас должен прямо сейчас готовить к бальному вечеру свой «банко». Мой будет – костюм!

Другие подтягивались, расширяли кружок, в котором дебаты о Грансае только-только начали прелюдию. Тут Соланж, скользя, как патиново-серебристый угорь, подошла поговорить с Диком д'Анжервиллем, наблюдавшим происходящее скептически и, казалось, ничего не видевшим. Он стоял одиноко, что-то постоянно переставляя рядом с барным столом, и Соланж де Кледа немного испугалась, глядя на оживление в своей гостиной, коя сегодня казалась ей чуточку слишком откровенно живописной. Тут действительно были вполне экстраординарные люди: каталонец Солер, пребывавший в постоянной ажитации, расплескивал мартини, обжигался своей же сигаретой, таскал кресла и пытался услужить каждому – и что за «образчик» он был: делал ультра-затейливые модные фотографии, заявлял, что открыл новую религию, и вручную выделывал кожаные шлемы для автомобилистов!

Теперь он тряс маленькую мадемуазель де Анри, коя, как обычно, была покрыта – можно даже сказать, пожрана, – заколками, брошами, булавками, ожерельями, браслетами, амулетами, колокольчиками. Он, казалось, хотел выбить из нее пыль, освободить ее от всего этого. Солер мешкал, но явно собирался в конце концов что-то с ней сделать. Ну и ну! Сие было неизбежно: он усадил ее на рояль! Ее рубиновая брошь откололась и упала на пол. Чтобы получше видеть, Соланж встала на колени на третьей ступени библиотечной лесенки. И стала тем самым похожа на серебристого ястреба. Оценивая общий эффект, производимый ее гостями «с точки зрения Грансая», она поразились беспорядочности своей гостиной: все ее друзья, постоянно видевшиеся друг с другом, привыкшие быть вместе почти каждый день, оставляли, напротив, возбужденное впечатление людей, случайно и только что встретившихся, а их знакомость казалась неуместной.

У Грансая все было наоборот: все держалось вместе так ладно, что, поскольку ничто ни с чем нельзя было поменять местами, ничто не оказывалось «неуместным». И даже люди, впервые познакомившиеся в его доме, будто расстались двести или триста лет назад.

– О чем думаете, *tristesse*? – спросил д'Анжервилль, беря Соланж за руку и помогая ей сойти с лесенки. Соланж замерла ненадолго, скрестив руки на груди в типичном жесте испуганной меланхолии. Теперь она походила на Соланж де Кледа, окись тоски.

– Мне это всё видится страшно *лоскутным*, – воскликнула она, сотрясаемая придуренным смехом, сжимая сигарету губами. – Не хватает безупречности.

– Класс, в подлинном смысле слова, – вот что придает безупречности... – сказал д'Анжервилль, предлагая ей пламя своей зажигалки. – А это – единство со своей судьбой. То же верно и применительно к знаменитым конным статуям Возрождения: класс в них был лишь тогда, когда конь и всадник отливались вместе, из одной формы. «Человек на коне своей судьбы» – единое целое! Посмотрите вокруг: ни один словно не завершен! А по большей

части даже хуже. Они все, кажется, из частей, взяты взаймы, перезащты у других людей, собраны воедино из тысячи кусков, не сочетающихся между собой. – Он вздохнул. – А еще жалче смотрятся попытки создать ансамбль. – Соланж подавила внезапный смешок и сделала вид, что кашляет в ладонь. – Да, *tristesse*, не смейтесь, молю: я смотрел на того же человека. – И он взялся перечислять, словно сообщал что-то очень серьезное: – Шляпа к сумке, брошь к пуговицам, пуговицы к тикам, а туфли к...

– К носу! – взорвалась Соланж.

Разумеется, дама, о которой шла речь, носила заостренные туфли в форме своего чрезвычайно напудренного носа.

Что угодно можно говорить о Грансае, подумала Соланж, но он-то во всяком случае отлит единым куском.

– *Mon Dieu!* – воскликнула Соланж, вновь мрачней. – Что же делать? Вы один, дорогой д'Анжервилль, могли бы помочь мне устроить салон как следует.

– Это просто, – ответил д'Анжервилль. – Немного красивой старой мебели – и ограничить число педерастов до строгого минимума. – С этими словами он покосился на просторный диван у входа: там в центре, окруженная откормленной стайкой цинических женщин – а среди них, развлекаая самих себя, предавались всевозможным пантомимам несколько отъявленных педерастов – царила Сесиль Гудро.

– Но Сесиль Гудро принимают у Грансае.

– Да, но для вас она слишком пикантна, – заметил д'Анжервилль.

Сесиль Гудро была по сути балзаковским персонажем, умной, *déclassée*¹⁶, ставшей неотъемлемым парижским элементом с помощью натиска и интриг, и эту могучую личность Грансай принял и признал просто в подходящий момент – так законное правительство поступает с революционной силой, когда последняя грозит стать слишком значимой.

– А Барбара?

Барбара только что вошла в гостиную, и ей не отказать было в декоративном эффекте.

– Она, – сказал д'Анжервилль, – ничего плохого вам не сделает. Напротив, она того самого вида запретных для Грансае плодов и «инакомыслящих, коим место по центру».

Соланж направилась встретить Барбару, та расцеловала ее в щеки и в уши и извинилась за столь позднее прибытие. Но все же она привезла фотографию, обещанную Соланж для ее альбома светских записей – «снимок княжны Агматофф, женщины-змеи!».

– Куда же я положила сумку?

Соланж велела слуге найти сумку. Почти одновременно с Барбарой явилась Бетка. Она два часа впустую прождала Веронику, чтобы войти вместе, ибо сама она при виде прибывавших шикарных автомобилей робела. И вот наконец, узнав мать Вероники, последовала за ней. Ошалевшая, тут же она получила в руки коктейль с бакарди, поданный внимательным слугой. В кружке Сесиль Гудро возникло оживание любопытства, глаза с восторгом вопрошали: «Кто эта дородная рыжая красавица?»

¹⁶ Деклассированный (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.